



СМЕНА

№ 2 ЯНВАРЬ 1978

НА КУПОЛЕ ЗЕМЛИ



ПОЮ МОЕ ОТ

Редакция журнала «Смена» объявляет конкурс одного стихотворения — «Пою мое Отечество», посвященный 60-летию ВЛКСМ. Мы обращаемся ко всем пишущим стихи (не членам Союза писателей) с предложением принять участие в этом конкурсе.

Пишите обо всем, что живо волнует вас: о комсомольцах разных поколений, вписавших своими боевыми и трудовыми подвигами славные страницы в летопись Ленинского комсомола; о ваших трудовых успехах и дерзаниях; о романтике повседневного поиска, который открывает перед вами все новые и новые творческие горизонты; о замечательных людях, которые вас окружают; о красоте родной земли.

Пусть жизнь нашего народа, нашей молодежи, кипучая, многогранная, наполненная героикой трудовых свершений, послужит той основой, на которой возникнут ваши стихи.

В письмах с пометкой «На конкурс одного стихотворения» должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора, возраст, профессия, домашний адрес.

Лучшие стихотворения мы опубликуем на страницах журнала. Победители конкурса, итоги которого жюри подведет в конце 1978 года, будут награждены почетными дипломами и премией журнала «Смена».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Виктор СМЕРНОВ-ФРОЛОВ,
экскаваторщик,
Москва

Строят поэты

Новые стройки!
А значит —
Стихи будут новые!
Честные строки
Взлетят над огромной страной.
Родины чувство —
Чувство большое, сыновнее,
Станет КамАЗом,
Станет дорогой стальной.
Грохот «максима»
И грохот «Ура!!!» над рейхстагом —
В нынешних песнях,
В бамовском стуке колес...
Стройка за стройкой,
Шаг комсомольцев за шагом —
Как бы ни трудно
Делать шаги пришлось.
Видю,
Как солнце на новые
стройки
любуется,
Солицу влюбиться в Сибирь
наступила
пора...
Строят поэты!
Мечтания горячие сбудутся —
Те, что за строчкой,
И те, что в дыму
у костра.



Борис ЖУКОВСКИЙ,
инженер горного
оборудования,
Кривой Рог

В глухую ночь на пограничных тропах.
Забыв о войнах, тишина живет.
Лишь чутких трав чуть различимый шепот,
Лишь туч бессонных бредущий полет.

Но вот рассвет зарею в небо ввинчен,
Спеша прозренье принести тебе:
В войну здесь пал наш первый пограничник
На этой самой, на лесной тропе.

Ты слышишь, как взлетели стрелы боя?
Нет больше трав, деревьев, тишины.
Хотел он Родину закрыть собою,
Но силы были слишком неравны.

Он здесь, он здесь! И зло берет до дрожи.
И не дыхнуть, как будто ты в дыму —
Не можешь ты, уже никак не можешь
Залечь, стреляя, и помочь ему.

Хоть мирный день давно стоит в зените,
В лучах спокойных трудится земля,
Здесь даже сосны, как стволы зениток,
Поляны, словно минные поля.

Николай БУБЕЛЕВ,
журналист,
Московская область

В необжитых, глухих гарнизонах,
В стороне от больших городов,
Славлю вас, офицерские жены,
Славлю верную вашу любовь.
Забывая свои заботы,
Вы с мужьями всегда на посту,
Проноса сквозь суровые годы
Нежность, женственность, доброту.
Знаю я: нелегко вам, мадонны,
Жить вдали по законам тревог.
Начинается день напряженный
Для мужей с полигонных дорог.
С танкодромов, со взлетных бетонов,
С ослепительных пусков ракет...
Славлю вас, офицерские жены,
В каждом деле и в каждой строке.
Вы — поддержка, помощь, отрада,
И особенно там, где трудней...
Разделяете труд наш ратный,
Ярославны сегодняшних дней.

Анатолий АВРУТИН,
журналист,
Минск

Мне казалось в детстве, что Россия —
Это наш домишко в три окна,
Перевоз, желтеющий осинник,
Водоканал, озеро без дна,
Куст лозы в сиреневых накрапах,
Из скворечни выпавший птенец...
Я и знать не знал тогда, что папа
Мне не только папа, но отец...
С каждым днем в Россию превращались
То тропа, то улица, то бор.
Каждая волнующая малость,
Каждый порывчатый кособор.
Шли года... Заботилась Россия,
Уводя нас в жизнь от пап и мам,
Чтобы дело было нам по силам,
Чтобы силы были — по делам.
Чтобы, не стыдясь сапог и пота,
Знали повзрослевшие сыны:
Не черна и черная работа,
Лишь бы души не были черны.

...Старый домик время подкосило,
Но спросил сынишка мой вчера:
«Папа, объясни мне, а Россия —
Это больше нашего двора?»
Как расскажешь маленькому сыну
(У мальчонки третья лишь весна),
Что чем больше знаешь о России,
Тем огромней кажется она.
Что по светлячку, по дуновенью
Мы всю жизнь Россию узнаем,
Чтоб понять в предсмертное мгновенье:
Как же мало знаем про нее!



Юрий ЕВТУШЕНКО,
врач «Скорой помощи»,
Солнечногорск

На дежурстве

Ухожу от друзей — дежурство.
Надеваю халат и — отъезд.
Обостряются мысли, чувства:
Вой сирены и красный крест.

Вызов, срочный! И срочный — снова!
Сутки здесь, точно час, малы...
Как проступок лишнее слово.
Жизнь и смерть — на конце иглы.

Вытираем усталые лица.
Ночь без сна — невеселый сказ...
Мы всегда на посту, на границе.
Остаются друзья без нас.

Василий ЗЫКИН,
учитель музыки,
г. Киров

О счастье

Мне для счастья надо
Мало.
Мне для счастья
Надо много!
Надо, чтоб меня
Мотала
Из конца в конец
Дорога...

Надо, чтоб меня
Манили
Чьи-то лица,
Чьи-то судьбы.
Чтоб слова
Дела вершили,
Оборачиваясь сутью.

Чтоб была за все
Тревога,
Боль, и радость.
И участие...
Мне для счастья надо
Много,
Чтоб своим
Делиться счастьем.

Наталья ХАТКИНА,
студентка,
Донецк

Мы

Старый клуб.
На экране — гражданская.
И сосед мой, вихрастый пацан,
Так болеет, что можно, кажется,
Фильм смотреть у него с лица.
А когда беляков атака
Захлебнулась горючей пылью,
Он мне яростно крикнул: «Так им!..
Мы победили!..»

Словно кто-то тянет
Руку сквозь года,
И они — с нами!
И мы — тогда!
Это мы в разведке,
Это мы в бою,
Это мы с пакетом,
Это мы в строю!
Наша песня с нами
Птицей впереди,
Это наш под знаменем
Красный командир.
Это наши кони
Разбегались во ржи,
Это мой товарищ
Неживой лежит...

Мы выходим,
И в уличном геме,
Чудом вышедший из огня,
Улыбается бронзовый памятник —
Мой товарищ
Глядит на меня.



ЕЧЕСТВО



Глеб МУКМИНОВ,
слесарь-механик,
Магнитогорск

Цветы в цехе

Казалось бы,
несовместимость,
но в пульс прокатанных листов
каким-то чудом уместилось
сердцебиение цветов.

К плакатам,
что горят словами,
к началу лавинной строки
тянулись цепкими руками,
рождались в цехе, стебельки.

Среди сверкающих конструкций,
среди больших температур,
среди приказов и инструкций
встала азбука культур.

Те пальцы,
что порой грубели,
от напряжения устав,
растали бережно аллен
веселых,
многоцветных трав.

И в этом родственном начале
травы, железа и земли
глаза поэзии встречали,
навстречу ей с волнением шлп.

В ней человек был лучше,
выше,
был, наконец,
самим собой,
соединив под общей крышей
цветы
с рабочей судьбой.

Валентин СИМОНОВ,
инженер-строитель,
г. Куйбышев

Строительных вагончиков уют...
Большая степь дымятся за порогом.
Полозья и колеса не дают
Покроются мхом проселочным дорогам.
Стремлянки взлет—стремительный прыжок!
Стелня ширь навстречу бросит волны,
И капитан на флагиане зажжет
Пурпурный вымпел нашей мехколонны.
А капитану только двадцать пять.
Жалеют о судьбе его походной
Девчата, и в вагончике опять
Дымит ведро черемухи холодной...
Но, горизонта двигая черту,
Не ищем мы себе работы легкой,
Мы познаем людскую красоту
И теплоту рябины одинокой.
Рабочий день у нас не до шести—
И дотемна большая степь дымятся.
Мы чувствуем, как время шеплет
Ветрами в дождь по нашим лицам.

Юрий МЕЗЕНКО,
студент,
Киев

Перетерпев бураны, бури,
вибрируют деревья бури.
Их корни бурые вращаются,
упорно к алаге прогрызаются.
Притихла, как передовая,
на миг природы буровая...
И—
вскинулось неизбежно,
почки оплавя,
веселое,
свежее,
зеленое
пламя!

Владик НЕРСЕСЯНЦ,
научный работник,
Москва

На небе нет ни сажени,
Куда б звезда не всажена
Немой лукавой точкою,
Давно зовущей строчкою.

Когда летали ищеры,
Тайком мечтали пращеры:
Прорвем без сожаления
Земное притяжение!

Но и сомнение—надо ли?
Когда вдруг звезды падали,
И ночи с днями путались,
А солнце в темень куталось...

Дерзаний оглавление—
Простое уравнение:
Хоть не кормите хлебом,
Прорвать бы только небо!

Чтоб от богов похищенный
Огонь, трудом насыщенный,
Между огнями вечными
Летал путями млечными.

Лидия НЕФЕДОВА,
театральный художник,
Рязань

Мне повезло

С рождения мне везло по-крупному.
С начала солнечного дня
Ко мне протягивались руки,
Уже любившие меня.
Через окно струилось небо.
Неслась за горизонт река.
И, словно занесенный снегом,
В ромашки прятался курган.
Мне повезло. Стучали ливни,
Как дальний странник по огню.
И не обстрал—гроза будила
В ночи весенней тишину.
Завенели весны, время шло,
И снова крупно повезло:
Все радуги, что были в мире,
Художники мне подарили.
Не видела горящих хат,
Гранаты не успела бросить.
Мне повезло, что в сорок пятом
Отец мой возвратился с фронта.
Но обелисков строгий ряд
На братских высится могилах.
Не требуя себе награды,
За нас ребята заплатили.
И если на моем пути
От взрыва нервно вздрогнут стены,
Хочу за прежние везенья
По-крупному платить.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СМЕНА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года. Выходит два раза в месяц.

№ 2 (1216) ЯНВАРЬ 1978

МОСКВА, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



Наша обложка:
станция
«Северный полюс-23».

Фото Романа
ЗВЯГЕЛЬСКОГО.

1 ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ.
КОНКУРС ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
«ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО».

2 ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА.
«ЗЕНИЦА ОКА».
Фотоочерк Бориса БАННОВА и Олега ИВАНОВА.

4 РАБОЧАЯ ПОВЕСТЬ «СМЕНЫ».
Элла ЧЕРЕПАХОВА. «ЗНАКОМОЕ ЛИЦО».

8 Рассказ Виктора КОНЕЦКОГО
«ТРИ ЧАСА У АДАМА И ПЭН В НЬЮ-ЙОРКЕ».

11 Стихи Евгения АНТОШКИНА.

12 «ЖИЗНЬ НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ».
Фоторепортаж Романа ЗВЯГЕЛЬСКОГО.

14 ОНИ НАЧИНАЛИ В «СМЕНЕ».
Повесть Виктора АСТАФЬЕВА «СОЕВЫЕ КОНФЕТЫ».

20 ЖЕМЧУЖИНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ.
Директор Государственного Исторического музея
Константин ЛЕВЫКИН. «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».

26 Братья ВАЙНЕРЫ. «ГОРОД ПРИНЯЛ!...». Повесть.

28 ЯНВАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ.
Обзор зарубежной печати.

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ

Редколлегия: В. С. АБАШИН, Б. Л. ДАНЮШЕВСКИЙ,
А. П. КУЛШОВ, В. В. ЛУЦКИЙ (заместитель главного редактора),
Г. Л. НЕМЧЕНКО, В. Г. ПОБЕДОНОСЦЕВ (ответственный секретарь),
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Е. И. РЯБЧИКОВ, В. А. САЮШЕВ,
В. И. СЕВАСТЬЯНОВ, Г. В. СЕМЕНОВ, Г. С. ТЕРЗИБАШЬЯНЦ (глав-
ный художник), Б. А. ФАИН, Д. Н. ФИЛИППОВ, О. Н. ШЕСТИНСКИЙ.

Художник С. П. Тюнин. Технический редактор Л. И. Курлыкова.

© Издательство «Правда». «Смена», 1978 г.



ДО ПЯТНАДЦАТИ ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ ДЕЛАЕТ ГЛАЗНОЙ ХИРУРГ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА АЛЬБИНА ИВАШИНА.

ки, серпантином струящейся вокруг ног до самой земли. Правда, остались кое-какие дела в клинике...

— Альбина, привет. Ты разве не в отпуске?

Она и сама не смогла бы объяснить, почему даже сегодня пришла в клинику к началу рабочего дня. Хотя у нее и отпуск. Она надела халат с эмблемой офтальмологов на нагрудном карма-

не—рука, держащая человеческий глаз,—и отправилась на третий этаж в свое отделение. День начинался как обычно: рабочая пятиминутка, а после—прием больных.

...Молодой механик счетных машин из Днепропетровска. У этого пациента все прекрасно после почти полной слепоты. Можно выписывать.

...— Вот ты, значит, какая, моя милая,

драгоценная!—поет старушка, которую ведет под руку сестра.—Наконец-то я тебя своими глазами увидела. Молодая-то какая. И красавица! Все как есть вижу: волосы беленькие, глазки голубые. Скоро внуков увижу, дай тебе господь доброго здоровьчика...

...Привели паренька лет пятнадцати—травматическая катаракта, спайка радужки.

Лауреаты премии Ленинского комсомола

Наконец-то он наступил, долгожданный отпуск. Впереди уйма свободного времени, целая вечность. Можно будет расправиться со всеми этими накопившимися за год ремонтами, покупками, мастерскими, химчистками... Прочсть все замечательные книги, поглядеть фильмы и спектакли, о которых в газетах ведутся дебаты из номера в номер... И сделать маникюр (в отпуске это даже хирургу дозволено) и сшить что-нибудь экстравагантное, вроде яркой шуршащей юб-

Борис БАННОВ.

Фото Олега ИВАНОВА.



ЗЕНИЦ



СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГА КОСНУЛСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА... САМЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ МОМЕНТ. НО ПРОЙДЕТ НЕ ТАК УЖ МНОГО ВРЕМЕНИ, И ДОКТОР ЗАПИШЕТ В КАРТЕ СВОЕГО ПАЦИЕНТА: «ЗРЕНИЕ—100%».

— Доктор, а он совсем не ослепнет?—волнуется мать.

— Мам, да ладно тебе. Если в летное не возьмут, мне все равно.

— Видали, о чем он? Помешался на своем летном. Доктор, миленькая, помогите нам.

— Людочка, запиши мальчика на операцию.

— Доктор, это про вас Восьмого марта по телевидению передача была? Вы Альбина Ивановна Ивашина? Доктор, помогите нам...

Кажется, еще вчера считалось невозможным то, что теперь она делает каждодневно. А началась ее научная работа в Архангельском мединституте. Она, второкурсница, вместе с другими студентами слушает «тронную речь» нового заведующего кафедрой глазных болезней.

Святослав Николаевич Федоров, так звали «новенького», рассказывал сту-

дентам об имплантации—вживлении искусственного хрусталика в человеческий глаз. Больше двух столетий назад подобную мысль выдвигал польский глазной хирург Гадзини. В ноябре 1949 года замысел польского экспериментатора осуществил англичанин Гарольд Ридли. Он заменил хрусталик, потемневший от катаракты, пластмассовой линзой. В нашей стране первым опера-

здесь стали работать и его ученики: Альбина, Валерий Захаров, другие выпускники Архангельского мединститута, свято верившие в успех общего дела.

Среди разных проблем, которые нужно было решить молодым сотрудникам лаборатории Федорова, одной из важнейших была интраокулярная коррекция афакии (афакия—отсутствие в глазу хрусталика). Пораженный болезнью

хрусталик можно заменить линзой-протезом—это, по сути, те же очки, только внутри глаза. Подобрать линзу необходимо с абсолютной точностью, то есть взять для вживления именно ту, которая нужна данному человеку. Преломляющая сила хрусталика у разных людей различна, а примерять искусственную линзу на вскрытом глазу нельзя, и потому Альбина Ивашина занима-



И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПАЦИЕНТ НАХОДИТСЯ ПОД НЕОСЛАБНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ХИРУРГА.

лась такой проблемой: как теоретически, до операции, рассчитать, с какими диоптриями линзу нужно будет вживить. И она вывела математическую зависимость коррекции глаза от длины его оптической оси, от преломления роговой оболочки, от расстояния искусственной линзы до роговицы. Этот научный труд стал ее кандидатской диссертацией, которую Альбина блестяще защитила. В итоге офтальмологи всего мира получили таблицы и графики, позволяющие быстро и безошибочно подобрать необходимый хрусталик для пациента. Работа молодого врача была отмечена премией Ленинского комсомола...

Окончив прием, Альбина направилась в операционную. Здесь самая любимая для нее работа. Эта любовь позволяет ей выносить, казалось бы, фантастические перегрузки: до пятнадцати операций в день!

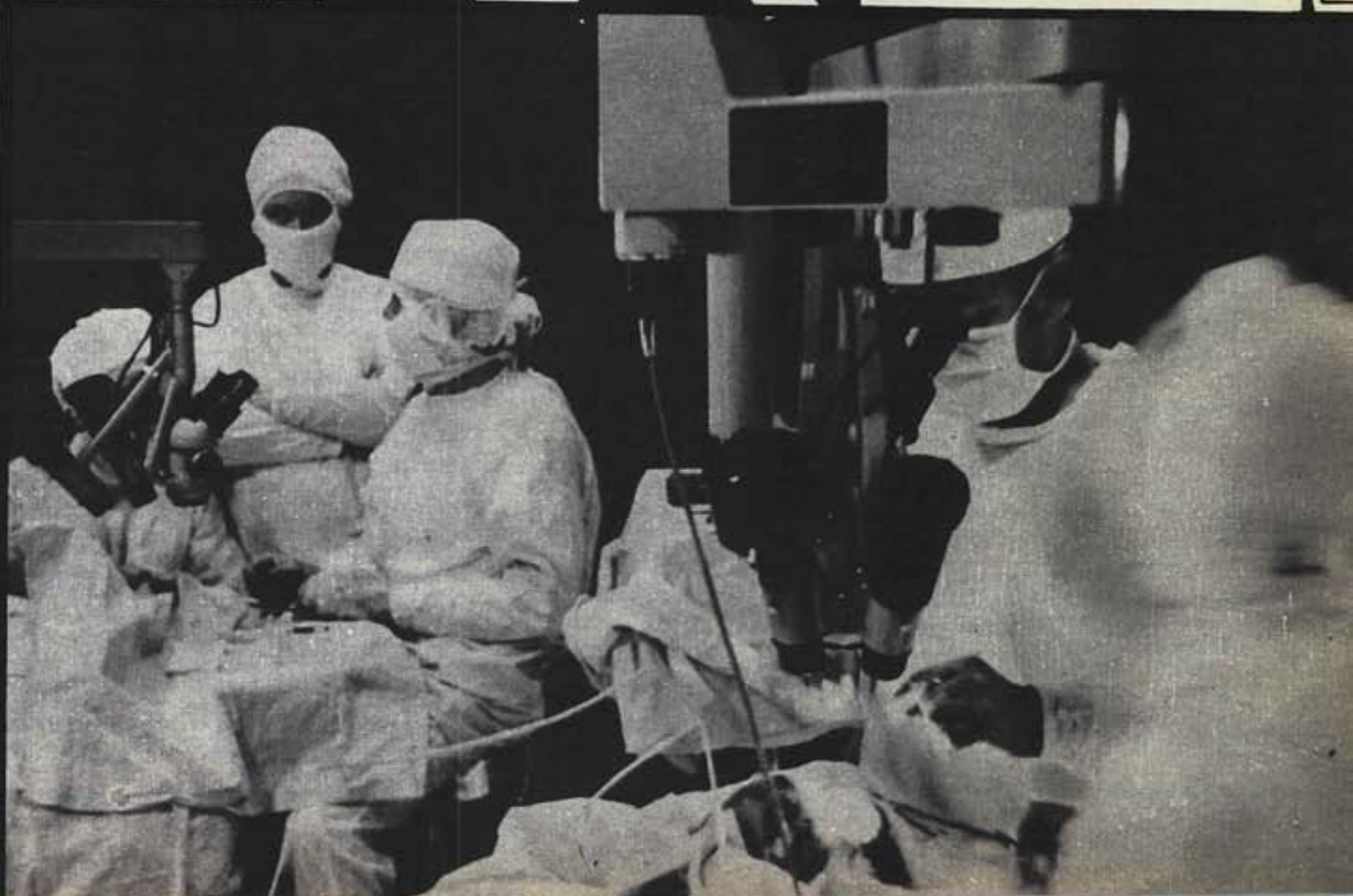
А ОЖКА

В ОПЕРАЦИОННОЙ РАБОТА ИДЕТ СРАЗУ НА ДВУХ СТОЛАХ. КОЛЛЕГИ АЛЬБИНЫ ИВАШИНОЙ—ДВА ДЕСЯТКА ХИРУРГОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА. «У НАС ВСЕ ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, И МНЕ ТРУДНО КОГО-ЛИБО ВЫДЕЛИТЬ»,—ГОВОРIT О СВОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССОР С. Н. ФЕДОРОВ.

цию по протезированию хрусталика сделал Святослав Николаевич Федоров.

У Альбины, которая слушала молодого доцента с нескрываемым интересом, не осталось тогда и тени сомнения в выборе дела, которому нужно посвятить всю свою жизнь. Она первая кинулась записываться в кружок офтальмологов, объединивший соратников, верных «оруженосцев» Федорова, решившего привлечь к разработке методики протезирования хрусталика своих студентов.

Шли годы... Альбина успешно закончила институт, стала врачом. С. Н. Федоров за это время получил звание профессора и возглавил в Москве научно-исследовательскую лабораторию экспериментальной и клинической хирургии глаза Министерства здравоохранения РСФСР. Вместе с ним



В предоперационной в тазах стояли растворы для мытья рук. Мелодично играл магнитофон: и больным не так страшно, и врачам веселее. А то привыкли—«тишина операционной». Если больной в сознании, не нужна ему эта гробовая тишина. Пусть лучше хорошую музыку послушает...

Вместе с ассистентом Альбина тщательно, в семи водах, мыла руки—операция на глазу делается без перчаток. Затем прошли к пациенту. Он лежал на столе под белыми простынями. Альбина села у изголовья, настроила микроскоп и взяла шприц.

— Откройте глазик. Вы меня слышите? Посмотрите налево вверх. Сейчас сделаем уколочик, это анестезия.

Так — уменьшительно — ласкательно — во время операции она говорила со всеми. В операционной многие в страхе перед болью становятся детьми, и обращаться с ними надо как с детьми.

— Вот он, хрусталик,—ворковала Альбина, извлекая из глаза полупрозрачную желтоватую линзочку.—Только проку от него никакого не было, одни неприятности, и совсем он нам больше не нужен, мы его новым заменим.

Альбина приняла от ассистента сверкающий, совершенно прозрачный хрусталик из полиметилметакрилата. Три усика с крохотными головками на концах и три петельки обрамляли линзу с микроскопической надписью: «Сделано в СССР».

...Только сняв маску, халат и полотняные брюки, Альбина почувствовала, что буквально все ее тело, даже мозг пронизаны тяжестью, напряжением, усталостью года. Ну, ничего, теперь она в отпуске.

Придя в свой кабинет, Альбина вспомнила, что так и не успела пообедать сегодня. Не страшно, завтра все будет уже по-другому. Она машинально взяла со стола пачку писем — их каждый день приносила ей Людочка. Пишут знакомые люди, которые скоро будут ее пациентами, люди самых разных возрастов, профессий, судеб. Сначала хотела засунуть всю пачку в ящик — после отпуска отвечу. Но вот распечатан один конверт, другой... И она читает выведенные нетвердой рукой по линейке слова: «Как мне хочется хорошо видеть! Ведь я уже не маленькая. В третьем классе мне прописали очки, а зрение все ухудшается. Альбина Ивановна, нельзя ли мне приехать к вам вылечить-ся?»

Конверт за конвертом — новые и новые люди. Она прикидывает, как ответит, чем ободрит...

«Я слепну, Альбина Ивановна. Один глаз хоть что-то видит, а другой уже различает только день и ночь. Помогите мне. Я хочу быть офтальмологом. Выучусь — сам встану на борьбу со слепотой».

«Дорогая Альбина Ивановна, пишет Вам с чувством беспредельной благодарности и самого глубокого уважения тот, кому Вы вернули зрение...»

Уже уходя, Альбина вспомнила, что хотела наведаться к новой своей пациентке — маленькой Танюше. У девочки большое сердце, она очень боится завтрашней операции.

— Операцию тебе сделает Анна Петровна, помнишь ее? — сказала Альбина, кладя на подушку шоколадку «Спорт». — Очень хороший и добрый доктор. Будет совсем не больно.

Глаза девочки моментально наполнились слезами.

— Не хочу, чтобы оперировала Анна Петровна. Я к вам привыкла. Не пойду к ней на операцию, отпустите меня домой, доктор, миленькая, ну пожалуйста...

— Ладно, Танечка, ладно, не реви только.

И Альбина направилась к дежурной сестре сказать, что оперировать завтра будет сама...



Оказывается, бывает профессиональная походка. Как ходит, например, по «тропам» ткачиха Нина Максичкина? Энергично, «толчково» — как будто отбрасывает расстояние назад, стряхивает его с ноги, и любимый рисунок маршрута такой: два к одному. То есть два раза вдоль основ на станках пробежится, один раз — вдоль полотен, и какой надо порядок наведет, какой не порядок случится — выведет. Есть такие женщины — они не спеша ни одно дело делать не любят — ни ходить, ни стирать, ни работать... Руки и ноги их плотны от постоянного движения мышц, фигуры — всего чаще — сухощавы, пальцы нервные, речь быстра. Точно Нина.

Валя Голубева — контраст товарке по смене — женственно-округла, плавна — и в словах, и в ходьбе, и в танцах. И у станков, на тропах своих, она остается той же — куда натуру спрячешь? Совсем неспешной кажутся ее «проходки», замедленными — поклоны у станков. Но столь расчетлива эта плавность, столь глубоки и полны источники энергии ее и сил, что диву дается непривычный или новый в цехе человек. Кажись, только рядом была, улыбалась, секунда и — словно вихрь перенес — в другом конце, и опять по-лебединому осанисто плывет по шумным своим заулочкам, мягко проводит маленькой ладонью по ламелькам — мягко, ласково, словно пахарь по колосьям перед жатвой. Случись обрыв — длинная, черная металлическая ламелька, в нижнее отверстие которой продернута нить, падает вниз, в рейку, и тогда чуткая ладонь ткачихи сразу ощутит «провал» — сигнал тревоги. Внимание ее еще больше напрягается и как бы сообщает пальцам рук еще большую чувствительность. Бережным и вместе с тем быстрым движением раздвигают они основу, чтобы учуять, ухватить хвостик оборвавшейся нити. Левая рука крепко зажимает этот упругий, ускользающий кончик, правая выдергивает ниточку из «надвязки» — так же неуловимо ловко, почти незаметно для наблюдающего стороннего глаза, как это делала ее наставница, великая мастерица Софья Алексеевна, и так же — нет, теперь побыстрее — сам собой возникает прочный узелок, и продленная нить, мягко переброшенная левой рукой на другую сторону, ждет «поводыря». Золотистым ужом на солнце мелькает — будто выпорхнувший из кармашка халатика, навстречу быстрой руке — ткацкий крючок. Он помогает поймать нить и загнать в крошечное отверстие «зуба» машины, возвращая работе ее прежнее мерное течение. Мгновение, секунда... Игра правой и левой рук, так точно и твердо помнящих свой черед, свое место и службу...

Но разве не одни правила и условия для всех? Выверенные трудом и опытом правила?

Элла ЧЕРЕПАХОВА

ЗНАКО

Одни и те же.

И тем не менее стиль — это человек... Как же разнятся — именно поэтому — один и тот же рабочий фрагмент в исполнении Максичкиной — бурный, полный тревожного напряжения — от голубевского — легкого, напоминающего скорей радостную игру... Нина в трудную минуту — и рабочих и личных неурядиц — может заматываться, запаниковать, психануть даже, хлестнуть злым словом всякого, кто подвернется в такую минуту. Валя соберется еще больше, напряжение спрячет, не потеряв ни улыбки, ни внешнего спокойствия. Она не склонна терять время на излишние эмоции, а, обдумав или уяснив причину поломки или простоя, стремится найти оптимальный выход и обсудить дело именно с теми, кто может его решить. С ее детских припухлых губ редко слетают необязательные слова, а трогательно маленькие руки не делают лишних жестов...

Конечно, о стилях, как о вкусах, можно спорить. Как бы то ни было и Нина Максичкина — ударник девятой пятилетки, победитель соревнования 73-го, 74-го и 76-го годов, имеет орден Трудовой Славы.

Окончание. Начало в № 1.

Все это ей в награду за труд ударный, честный, за мастерство и верность делу: Нина на камвольном чуть не со дня пуска его (а было это в 1963 году), стало быть, ветеран.

Она постоянный консультант в школе передового опыта, и местная печать, начиная с комбинатской многотиражки, не обходит ее вниманием и похвалой. Отпуск ей, заслуженной камвольщице, в любое удобное для нее время года, путевки в санаторий — без разговору... А недавно ей предложили съездить с мужем в туристическую поездку в ЧССР и ГДР — комбинат организовал их семье такую возможность. Нина комбинатскую свою жизнь по самой высшей мерке ценит, но и то чувствует она, что «в своем праве» так станки обиходить и такие нормы давать — это не щи ложкой из миски выхлебать... Ведь каждую пушинку, соринку каждую сдует. Ничто, кажется, не укроется ни от острых глаз, ни от опытных рук ее, никакому не вкрасться самому хитрому браку... От чрезмерного напряжения, к которому склонна она по натуре, устают порой у Нины глаза, когда приходится искать сбившие манеры, да и сорта шерсти она работает все больше темные — темно-зеленые или черные, — смотреть и правда надо соколом. Но она не



Фото Александра КОЧЕТОВА

МОЕ ЛИЦО

ТРЕТЬЕ АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

жалуется. За свой рабочий век, кроме шерсти, немало наткала она и миткаля и ситцу на платья, работала и марлю для медицины и полотно сарафанное... А нынче текут у нее из-под рук «Енисей» и еще дорогой да модный «Сапфир». И все она делала в охотку. Все у нее есть: и слава, и заработок, и от людей уважение... Отчего же ведет она счет и сравнение своему и именно—Валиному? Разве мало вокруг других—тоже и мастеровитых и опытных, в красных «ударных» косынках, награжденных и орденами и признанием людским? Тех же товаров по цеху взять—Журавлеву, Кузину или, скажем, Сухову,—они и на комбинате, что называется, «звучат» и шире—за пределами...

— Горделивая ты, Валентина,—скажет иной раз Максичкина, а сама не в силах объяснить, что хочет сказать: с виду проста, а горделива...

Та отшутится:

— Что ты, Ниночка! Просто профиль у меня такой.

— В техникум ты поступила, слышно? А Борис-то твой не поперек? С Павликом же ему забот прибавится...

— Борис не поперек...

Что склеило Валентину с ткацкой ее судьбой? Может быть, для начала—совестливость: учили ведь—как в долг брала, значит, отдать требуется. Может, надежда на заработок хороший—он и правда у ткачих завидный, ну, а дочка из большой семьи, где дети не набалованы, с детства привыкает ценить рубль да полагаться на свои труды. Может, и то упорство поспособствовало, что только растет с сопротивлением обстоятельств,—врожденная и собственной волей сохраненная черта,—кто скажет? Натуру со счетов не скидывай...

Лично я думаю: на любом месте вышел бы из Вали работник дельный и честный—при этом ее характере и воспитании создается именно такое предрасположение. Случилось, однако, счастливое совпадение: ткацкая работа пришлась ей по душе. Бывает, на счет романтики относим мы метания чьей-то судьбы: мол, и по морю товарищ ходил, и по горам лазил, и токарь был, и пекарь... Там недоучился, здесь недобыл, там недопривык... Чья-то «романтика»—наши с вами издержки. А другой человек, как Вали, с занятой позиции никуда,

упрется, корни пустит... У них, у таковских, своя линия движения и своя романтика, только ее, как принцессу в Золушке, не каждый узнает сразу: может: скромна больно с виду. Иногда усмотришь такую на трибуне—говорит привычные слова: «дать сверх плана» или «постараемся улучшить качество»,—а в душе у нее звенит что-нибудь такое: «И на весь бы мир одна наткала б я полотна!» Только она чувства выразить стесняется. Это случается. И не только с Вали. Но слова ведь не главное...

Ну, а чем же так глянулось Вале ткацкое дело? Ведь вступишь в цех—и баста!—слова не вымолвишь в могучем гуле. И ходьбы за смену достается как доброму марафонцу и глазам напряжение, как у пограничника. Все так, но где, скажите, если размышлять о «минусах», в каком стоящем деле и в какой профессии не нужны усилия и преодоления?

Зато нашлось много такого в этой профессии, что оказалось Валиной душе близким: необходимость в ловкости и бисерной красоте движений и тот подстрекающий, азартный дух, что толкал к творческому «своеволию» Дусю и Марию Виноградовых, Валентину Гаганову, Зою Пухову, Елену Амосову...

И еще тонкость: приятно все же быть при большом деле. А ткань—кому она не нужна? Из нее и распашонки и бархатные знамена... Может, и впрямь она, Валентина, из горделивых, если с этой точки глянуть...

Чудесное руно длинношерстных (камвольных) овец превращается под ее рукой в упругуюobleскивающую ткань самых удивительных расцветок и тонов—дни заполнены нужным, важным, а без этого какая жизнь?

Но какое оно, «творческое своеволие»? В чем оно? Зачем нужно? Есть же станки, есть инструкции, отнормированное время...

В гигантской индустрии все огромно: машинный парк, населенность рабочими, объемы... Счет идет на сотни тысяч, на миллионы. Каждый год камвольный комбинат прибавляет выход тканей, набирает силу. И, к слову, по сравнению, скажем, с 70-м годом комбинат заставил объемы «подрасти» на 5 миллионов метров. Людей же на комбинате за прошедшую пятилетку не только не прибавилось, а поуменилось даже. Стало быть, не в числе секрет, а в умении?

Ну, положим, станки все совершенней, но ведь и требования растут, и, в частности, приходится иметь постоянный «радар», распознающий сигналы моды: ежегодно ассортимент наполовину по крайней мере обновляется... Стало быть, личный поиск и находка—это ценности в прямом значении слова, выраженные в метрах и рублях, и нужны ли они, тут двух мнений не имеется. Но каждый ли может что-то «открыть»—вот вопрос. И так еще можно повернуть: каждый ли ищет?

Как, когда случилось с ней, с Вале? Все вроде была новичком, начинающей, «стажером» и вдруг—на посторонний взгляд вдруг—на ногах стоит прочно, твердо. Правда, все знают: замечательный человек у Вали помощник мастера Александр Прохоров—поддержка и опора. С такой опорой многого добьешься...

Появилось у комсомолки Вали «свое мнение». Уж, какись, перепроверен маршрут 2:1 знатными ткачихами, традиционен, описан, рекомендован... И на тебе: зеленоглазая улыбка комсомолочка с детски припухлым ртом вводит новую геометрию—1:1.

Пути-дороги ткачихины на виду—как на сцене без занавеса. Глаз товаров приметлив. И сейчас же подошли к Вале женщины: «Ты что же это, милая, позволяешь себе? Два раза основу проверить—закон! Ленишься решила?» От смущения Валию бросает в жар, на верхней губе—испарина.

— Так-то побыстрее будет, время на переходы от станка к станку сберегается.

Смеются кругом: — Ну, новаторша! Нашла топор под лавкой... Так ведь на чем время-то экономишь, сообразить надо! Оно же на досмотр, на контроль идет, то есть на защиту от закрепи, жгутов, утолщений, мало ли...

— Ну, а если смотреть получше, исправлять побыстрее?—чуть не шепчет Валентина.

Переглядываются товарки: — Ну, смотри, Валуша... Мы тебя упредили... Смотрят ей вслед, аж плечам зябко. Голову опустила, потом подняла и пошла по-своему...

Месяц сменял месяц, но не слышно было, чтобы Вали «провинилась», и было это всем удивительно: «О двух головах, четырех глазах она, что ли?»

Маршрута своего держалась твердо, и однажды пришел в цех представитель из отдела нормирования с секундомером и стал возле ткачих похаживать, прибором своим щелкать и в тетрадке что-то писать.

А когда после результаты услышали, даже Голубева удивилась. Оказалось, стандартные рубежи скорости она давно переступила на всех этапах своей работы: заменяла ли истаявшую в работе бобину—ей больше 11 секунд не нужно, а положено 20, оборвалась, допустил, основная нить—22 секунд довольно легким ее пальцам—найти, надвезать, завести в зуб, а дается 30. «Мы тут прибрали экономию за смену—набежало 48 минут,—обработано сказали ей нормировщики.—48 минут—это... позволять... да это больше 100 метров ткани».

Что говорить—впечатление это произвело. Ну и Валька! Быстро оперилась...

И Нина Максичкина, как все, поздравила, приобняла, но все же подначила:

— Нить-то я завожу пока побыстрее тебя, девушка, и обрываю оточную тоже... Вот как хочешь—не обижайся, хваленая, догоняй.

«А чего обижаться,—думается Вале,—это же замечательно: такой мастерице в затылок дышать».

Нина в 71-м году, когда конкурс по мастерству был, всех превзошла и не раз посылала вызов сильным соперницам—Годовицкой Александре, например, ткачихе из другой смены, и даже калининской одной знатной работнице, с которой познакомилась, будучи там на стажировке. Работнице этой имя—Регина Грачева. Когда объявила она, что

со сменщицей вдвоем сделает 3 пятилетки в одну (по полторы каждая), и жаркое Нинино сердце не стерпело: послала знакомой вызов, и «свои пятилетки» закончила раньше Регины. Случалось и уступать порой, но про то вспоминать Нина не любила: характер не позволял...

В Валины годы Нина от большой славы была еще не близко, но как-то все теперь пошло двигаться быстрее, проворней, что ли. Совсем недавно полторы тысячи комсомольцев рапорт дали: с планом управились досрочно... Все так, но было в юной сопернице особое что-то—превыше опыта, превыше просто молодой физической выносливости, смекалки даже...

Может, ей больше везло: пришла на комбинат, когда все уже налажено, сделано. И пневмочистка есть—пух сама глотает, и станки бесцельные, дивные—ничего менять в них, как прежде, не требуется—заправил, включил, знай похаживай...

Так нет—и еще облегчение вышло: товарный валик сильно облегчили. Это ж только тот оценить может, кому приходилось снимать весомый товар смену за сменой... Да, впрочем, сейчас и не ткачихи на это забота—специальный рабочий с тележкой подвезает...

«А ведь Валькино было предложение,—вспоминает Нина.—Да-да, она начала, бабоньки поддержали—и пожалуйста... Могла бы и я додуматься—невелика находка... Теперь вот журналисты к ней запохаживали... А не рано?»

Журналисты Валию слушали. Ей казался неловким тот эффект, что получался от передачи ее слов через печать: скажешь вроде тихо, а получается, когда напечатается, громко, как в микрофон... Еще и другое: она думала, что «личное» не печатают.

— Как вы к Виноградовым относитесь?—спросил один журналист.—Не устарили они, стахановские наши бабуньки?

— Ой, да вы что?!—от души возмутилась Вали.—«Дашь встречный!»—это же их лозунг был, а стал наш... Мне бы силы да напор этих «бабушек»! Честно... Такое сделать можно! Тем более, что у нас же на комбинате условия... Техника фан-тастическая.

— А люди?

— Как это «а»? Мы же с вами противопоставлять не будем, верно? Машины—людям, людей—машинам... Даже самые новые станки, самых последних марок наши ребята «доводят», приспособливают к потребностям дня. У нас есть ремонтники—молодежная почти сплошь бригада, и бригадир—комсомолец Женя Блинков, вот они и колдуют. Или возьмите Славу Кузнецова—это же голова! Он штуку одну для «скало» придумал—есть такой узел в станке, то и дело «летит», работу сбивает. Теперь то все—порядок, приспособил он «скало», отладил. Я слышала, это тысячи рублей упало. Никакого «а» или «но» меж нами быть не может. Только «и», вот так: мы и техника, техника и мы. Но вы меня извините, я вот тут «выступаю», а мне за Павлом в садике пора, а потом тоже не смогу беседовать: в техникум надо...

— Костюм на вас ладный... Из «вашей» ткани?

— Угадали... Кажется, ничего особенного? А напечатает—и не по себе Вале. Ходит, казнится: оять лишнее сказала.

ИЗ БЕСЕД С НАЧАЛЬНИКОМ ТКАЦКОГО ЦЕХА ВЯЧЕСЛАВОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ СОКОВЫМ

«Товарищ журналист, не обижайтесь, но, записывая цифры выработки Голубевой и перечисляя ее звания, вы сути все же не объясните. Не у нее одной орден Трудовой Славы, не единственная она удостоилась премии имени Виноградовых за трудолюбие и умелость. Вы то опишите, что у нее особенное: из начинающих она. Есть такие люди, которые умеют первыми новое углеть, понять и начать. И нужна для того не одна смекалка да интуиция—характер требуется. Смелость. Вот это в ней есть, в Валентине,—начинающая она...»

ИЗ ВАЛИНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

«Это случилось со мной... не знаю как... Представляете, в один год получаю: знак ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть», орден, премию Виноградовых... Чествуют, конечно, поздравляют, хвалят. А в душе ноет что-то, под радостью где-то глубоко, но слышно—ноет! Я-то знаю, что это неполовая сила моя еще наружу вышла. Что есть запас нетронутый, большой... Что же, я села да купоны стригу, получаю? Вот и думаю про это, думаю... Прихожу к мастеру своему, признаюсь: так и так, считаю—широко живу... «Уплотниться» бы можно. Он смотрит на меня—не сморгнет—и спрашивает:

— И сколько же ты думаешь станков на себя принять?

— Давайте 22!

Тут он замолчал:

— Хватила, Валентина! Сил достанет ли? Не на день же берешься...

А я ему:

— Давайте посчитаем вместе.

Я ведь начинала с шести станков, но ведь времена как меняются! Сейчас девочка только из ГПТУ—и уже по 14 станков берет без боязни—вместо типовых 9,—соразмеряет потому что со старшими: те от «типа» куда как далеко ушли. И я так тянулась. Тут Зою Коновалову вспомнить хочу. Она всегда говорила, что не в одних рекордах дело, а в повседневном мастерстве и умении, что, мол, рекорд только «поджигает», с него все начинается. И я согласна. Смотрите, у камвольщиков к Октябрьскому юбилею задумано было дать товару! 26 миллионов погонных метров—это миллион да 700 тысяч «верху» над планом. Так и получилось. А это можно только при единодушной хорошей работе, так? Но кто-то всегда начинал, кто-то делает первый шаг—ради второго, третьего, десятого... В общем, вызывает меня начальник цеха и обходительный разговор ведет—вроде хвалит, но и подумать велит. Тут у меня и сорвался:

— Вы, Вячеслав Александрович, не смейтесь только, за пустомелье не считите, но я же на десять лет вперед наткать могу. Дайте 22 станка, и докажу. Силы есть, все обчислено, и на помастера я вполне надеюсь: с техникой он в ладах.

Задумался... Но я не обижаюсь, жду... И его понять можно: никто еще за такое не брался. И знала я, что станки мне все же доверят...

Собираясь на первую свою «новую» смену, она постаралась выспаться как следует и согнать всякий «мандраж». Нужен ясный глаз, свежая голова, отдохнувшее тело. Но какой ни стоял в цехе шум, ощутила она в то зимнее утро отчужденное молчание, сквозь которое пришлось ей пройти и встать, горбясь, у старта новой дистанции... Так встречает родная смена... Почему?! За что?!

За шкафчиками в раздевалке шепот: «Нас она спросила? Сверхпередовая... Хорошо оно, спору нет, да не каждый же может выдать эдакий «сверх». А ведь заставят теперь—с легкой руки-то...» И поглядывали... тяжело. А глаз оторвать от Валькиной работы все же трудно: красиво ходит, чисто ведет. И чистеха: бобины под ногой у ней—ни-ни, не найдешь, «елочки» всегда готовы новый уток принять.

И другое интриговало. Каким бесом Валька умудряется в уме держать, как соображает: и как где пройти лучше и где пора «товар» срывать, где «метка» подходит, где основа или уток «дошли», какой станок встать хочет... Ведь 22 станочка, бабоньки,—шутки прочь!

Однако недоверчивые голоса студии восторги: как еще, мол, сработает? Плохого товару надевать—много ума не надо... Да и самой ее надолго ли хватит? Не тяжело ли взяла?

Но проходили дни, недели, голубевский товар шел как положено, а в цехе не объявляли новых норм, не понуждали никого в сменщицы Вале... И поле электрическое вокруг нее стало явно слабеть, сменяясь острым интересом, вниманием и неожиданным беспокойством: «Неужели мы плоше?» Кроме всего прочего, новые голубевские заработки производили впечатление—под 400 все же...

«Да ну, это все так, временное,—думала в то смутное время Валентина.—Сойдет лишнее, ненужное отлетит. А дело останется».

И ей вспомнилась замечательная машина в отделочном цехе: над высокой волной голубого огня пролетает с немислимой скоростью сквозь валики пропущенная лента ткани. Огонь выжигает из нее на ходу мелкий мусор. Так и тут...

В сменщицы к ней попросилась Максичкина: — Пойду к тебе в напарницы, Вали. Не против? Не сразу все дозревает, пойми.

— Да разве я не понимаю, Ниночка?—И, поддаваясь порыву, обняла Максичкину.

— Нин, а я уже на 28 решила. Тогда можно и на три пятилетки вперед наткать...

— Да ты, Валь, рехнулась... 28! Такого еще по стране не слышано! А если спросят тебя, зачем?

— А если кто и спросит, Нина, я отвечу: потому что могу! Хочу потому что... Мало?

— Но не все же, Вали, так могут...

— Пусть то, что могут, выложат... У каждого найдется... Стыдно зажимать... И не думай, что я одна так настроенная. За мной народу много. Комсомольцы, во-первых... Так что не по воздуху хожу—по земле...

— Молодежь-то она молодежь...

— Да нет, молодежь-то—она молодежь! Вот как. Сама знаешь, на десятую пятилетку «комсомольский встречный»—весомый. А читала ли, каков средний возраст молодых на комбинате был два года назад? 22—23 года—вот какой. А те-

перь—24—25... Остались, значит, люди, взрослые, вырастают, ну, и я с ними... Не одна я, Нина, пойми... Не уникальная какая... Из них.

Выдержка из выступления ткачихи В. Железцовой на комсомольском собрании ткацкого производства 1-й смены (95 человек).

На повестке собрания был всего один вопрос: выдвижение Валентины Голубевой на соискание премии Ленинского комсомола.

«Я поддерживаю предложение выдвинуть Валю Голубеву,— сказала Железцова.— Как не поддержать? Как не гордиться таким красивым трудом? Как не пожелать такого же мастерства и себе и своим подругам?»

Постановили: «Выдвинуть тов. Голубеву Валентину Николаевну, ткачиху камвольного комбината имени В. И. Ленина, на соискание премии Ленинского комсомола 1976 года в области производства за высокие производственные показатели во Всесоюзном социальном соревновании и трудовой подвиг, выразившийся в выполнении двух годовых заданий пятилетки».

Так зажглась неугасимая Валина звезда, так зажигались звезды и других мастериц ивановских—прядильщицы Музы Стоговой, мотальщицы Анны Ичетовкиной,—прославивших себя искусной работой и современным подходом к делу. Их сила питалась от силы их соратников.

Настал день, когда Валентина 28 станков получила. Вышла на смену, глянула—у самой дух захватило. «Дистанция огромного размера»,—вдруг выплыло из школьных уроков литературы.

И на этот раз ощутила она «электрическое поле», но только заряжено то поле было совсем иначе.

Из других смен и даже из других цехов пришли женщины подивоваться... Поправила Валя кружевной воротничок на коротком по ивановской моде халатике, вздохнула... Ну, пора...

Никогда, ни раньше, ни позже, когда ее мучили телевизионщики, киношники, фотокоры центральных газет, она не пережила и не перечувствовала того, что было на этом «неофициальном просмотре». Она приняла смену, старалась вслушиваться в слова напарницы—что и как обстоит в «хозяйстве», какие случились неполадки и отчего... Зажгла один за другим подсветки на станках и просмотрела полотна—ладно ли идут, без сукрутин ли, осечек, присучек... Эти самые первые минуты смены, сам «вход» в работу был важен для нее: своими прикосновениями она как бы давала знать машинам, что пришла, что все будет хорошо... И была, была магия в этих легких, быстрых движениях тела ее и рук, мгновенных пробежках, маневрах и безошибочной интуиции, с которой—секунда в секунду—она оказывалась у остановившегося станка.

Одна старая работница, долго наблюдавшая все это, рассказывала потом, что мнилось ей, будто двоится Валька: и тут она и там сразу... И сорвалось у старой вполуху: «Нечистая ей помогает, что ли? По воздуху девку носит». Смеху было... И растаяло в этом смехе много того, что заскорузло было, закамнело... Но и вправду—любопытно товаркам-то понять, как да из чего Валины успехи.

— «Разгон» у ней умный,—замечает пристальный взгляд одной ткачихи.—Станки в уме держит и шаг старается так соразмерить, чтобы возле нужного вовремя остановиться, знает, где скорей бобинка оголится, где позже.

— Да все мы в уме держать стараемся.

— Все-то все, да не 28 же станков...

— Дусе Мусиновой сказать—пусть порадуется: она Вальку попервам наставляла, когда до пенсии еще тут была.

— Да, умеха девка, чего скажешь...

Вот и смене конец.

— Спасибо, девочки, на добром слове... И с ног не валюсь, но и присесть не возражаю...

А про себя: дойти б до дома, плеснуть в уставшие глаза холодной воды, забросить ноги на валик дивана, почувствовать теплую руку мужа на занемевшем плече...

Борис и правда встретил на пороге:

— Ну как, Валька?

— Устала сегодня... Испереживалась... Люди смотрели... Как на сцене ходишь!

— Валька, не надорвись!

— Боря, ведь постепенно я, сам видишь... Да и физическая нагрузка, считали мы, на 4 процента вверх пошла—всего-то... Производительность зато—на 25. Сила? Конфеток бы Павлику купить...

— Купил уж... И колготки его постирал... Отдыхай...

— Я только полчаса... Готовиться надо. Завтра в школе передового опыта выступать—консультирую, представляешь?

— Консультант Голубева, приказываю отдыхать!

— Валентина Николаевна! Спите? Да как мож-

но?! Поздравление вам... Из Москвы... Правительственное... Вас поздравляет с успехами Леонид Ильич Брежнев... Персонально, по имени... Решили домой позвонить...

— Мне? Персонально? Но я же не одна... Теперь, сами знаете, сколько таких заявлений подали—станков просят прибавить, и вообще...

— **Теперь**, Валя, верно? Да ты что, Валя?

— Ой, не обращайтесь внимания, слезу пустила с радости... Такое письмо получить! Чем только отвечу?

Это произошло 16 декабря 1976 года. И к этому дню «хрупенькая» Валя, как добрый тяжеловес, подняла два годовых задания.

ЧЕТВЕРТОЕ АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Зря разве говорят—бремя славы? Не зря, спросите тех, кого не обошла она стороной. Искренний, совестливый человек острой чувствует, какие обязанности она приносит—не права. Пришли для Вали новые испытания—громкой известностью... Приглашают ее в Москву—на слеты и съезды, совещания и коллегии министерств. И она собирается, едет, торопливо устраивает семейные дела: если нужен ее опыт, ее мнение—зачем чиниться? Но едва лишь кончается деловой разговор, спешит Валентина к Ярославскому—на самый скорый поезд. Был такой эпизод: выступила на коллегии, и вручают ей билет на банкет, а у нее уже рука занята: там билет на ночной поезд в Иваново.

— Что же вы, с вокзала—на смену, что ли?

— Точно так, ведь график у нас, а же сегодня как раз объявляла на коллегии...

Как говорит Соколов, начальник ткацкого: «Такая у Голубевой человеческая структура».

И в планоно-нормировочном отделе и дома у Вали есть деловая, важная бумага—вся расчерченная, разбитая на клеточки и пункты. В ней обозначено Валино будущее, как она его видит на три года вперед: и нормы, и качество (99,75 процента 1-м сортом), и даты... Есть там и то, что пообещала Валентина через газету «Правда» в феврале месяце в письме товарищу Леониду Ильичу Брежневу: окончание личной пятилетки отметить 7 ноября, а до конца 1980 года—12,5 годовых норм пообещала наткать, вот как... А слово-то не воробей...

«Быть идейным—это значит осознать свой труд как часть великого общего труда... Это значит требовать от себя и от других строжайшего соблюдения дисциплины труда, работать с огоньком, инициативно, с полной отдачей сил».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Запомнились Вале эти слова.

Ведь, думается, прямо к ней обращено: к ней, как и ко всем ее товаркам—по смене, цеху, городу, стране... И об этом беседовала она с Генеральным секретарем, когда пришла свидеться в Кремле, отвечать на расспросы о ткацком житье-бытье. Это было в тот резко очерченный памятью день, день вручения комсомольского билета Леониду Ильичу Брежневу.

...Полноводной рекой течет с Валиных станков шерстяной «Енисей». И темп и ритм ее жизни новые, ускоренные. С первыми двумя годовыми заданиями управилась за 9 месяцев, третье «взяла» за 3 месяца 23 дня, а 20 июля 1977 года весь комбинат поздравил ее с завершением личной пятилетки. И дел вроде прибавка большая: и партийная стала и областной депутат, а все это как-то в помощь, будто силы в один жгут свивает... Такая уж, и верно, у нее структура человеческая.

— Валь, расскажи, как на Кубу летала?

— Да я уж сколько рассказывала...

— Ну, еще... Вон Галка не слышала...

— Ну, пригласили меня на съезд молодых коммунистов... Полетела с делегацией... Был там Петр Климук—космонавт...

— Надо же!

— Ну... жили на 21-м этаже, в отеле, встречались с Раулем Кастро, с кубинскими молодыми коммунистами.

— Чего ж ты им, Валя, рассказывала?

— Про близких. Про семью свою, про вас—о чем же еще? Как живем, как трудимся... Как на ВДНХ в 74-м за всецельские успехи и передовые методы труда ивановцам диплом и премии дали. А премии, помните, какие? Алевтине Смирновой, ткачихе, да Ларию Минину, поммастера,—по «Москвичу»... Радуются за нас, аплодируют...

— Надо же... И пальмы там?

— И пальмы... Пляжи видела—черный песок.

Красота такая, как в кино цветном!

— Валь, а космонавт чего рассказывал? Как там, наверху-то?

— Наверху, девочки, как и внизу, работать надо. Много, до пота и по совести. Так Петя Климук сказал...

В Центральном комитете ВЛКСМ Валентину Голубеву обняла, вручая ей диплом лауреата премии Ленинского комсомола, героиня первых наших пятилеток Мария Виноградова. Когда-то, в тридцать пятом году, полная молодого задора, Мария крикнула в зал, где шло большое совещание: «Мы свой рекорд никому не отдадим!» Но пришли новые поколения, и вот эта, например, замечательная женщина, которую так тепло приветствует съезд,—Валя Гаганова, и эта совсем молодая, 27-летняя Валя Голубева—они дотянули их с Дусей нить до нынешнего дня, и в этом счастье, в этом высший смысл, что нигде не обрывается ниточка...

И верилось и не верилось... В жарком мареве августовского дня как по воздуху плыла навстречу праздничному многолюдью, цветам, улыбкам, восторженным словам:

— Валька-то наша... Вот это да! Высота!

Пересменок на комбинате: одни закончили, другим заступать скоро, но слились в этот день волны людские во дворе, залитом солнцем; и в торжествующем гуле поздравлений, взволнованного смеха, приветствий, поцелуев, словно во сне, с легко кружащейся головой, потрясенная, стояла Валентина. Да неужели это ей, ей прикалывают на грудь Золотую Звезду Героя Труда, ее твердую, черствоватую ладонь жмет первый секретарь обкома партии, и взрывается аплодисментами комбинатский двор, будто салютом...

«Да неужели это я, я? Гэптушная девчушка, засыпавшая с узелками в кулачке? Здесь, перед всеми—и так отмечена? Ведь ихний опыт взяла, от них выучка, от них умение, от них и сила»,—мелькало в сбившихся от волнения мыслях. Затуманившиеся внезапной слезой волнения глаза встретили нечаянно другие такие же—влажные, счастливые, похожие. Отец стоял на комбинатском дворе—приехал к дочке в отпуск и попал на самое большое торжество и в ее и в своей собственной жизни.

И оттого, что и отец, и муж, и даже маленький Павлик были здесь, рядом, она особенно остро ощутила этот праздник как семейный. Комбинатские были ее семьей, ее живой средой, ее опорой. И как в каждой семье, случались и здесь свои сложности или споры, но живей живого, кровней кровного были зависимость и связь между ней и этими людьми. И это она ощутила в горячем приливе благодарности и счастья. И как всегда, в подобные минуты это ощущение сменялось, смешалось с ощущением тревоги: щедра к ней жизнь без меры—чем ответствовать на такое?

— А я тридцать станков смогу!—вырвалось у нее, прокатилось над двором.—Счастливые ведь и чудеса могут, а это «чудо» всем опытом подготовлено—сбудется.

И тут же, пунцовая от смущения, часто помаргивающая, выбежала обнять ее сменщица—Галия Волкова и так, в обнимку, обернувшись к народу, выкрикнула звонко:

— А я две пятилетки за одну обещаю! От Валентины зарядилась.

Такой это был день: он принадлежал теперь навсегда памяти Вали, комбинатских, Ивановых, страны... Он не венчал какого-то конца ее усилий, а только отдавал должное мастерству, смелости и страсти к делу. Он поднимал ее и ставил на высоту, с которой она еще лучше видна была людям, и это отнюдь не сулило жизни легкой, поступков неоправданных, застоя или душевной лени. Она знала это слишком хорошо. Знала цену нового напряжения, ожидающего ее, но с жизнью не торговалась никогда. Она любила и принимала ее с безоглядностью цельных натур, не замечающих, как щедро они отдают, но удивляющихся ответной щедрости...

Отчего кажется таким знакомым милое это, улыбочное-улыбочное лицо с тяжелой прядью наискось высокого лба? Оттого ли, что часто встречаешь его теперь в газете, на экране телевизора, в кинохронике, или чудится, будто где-то видел ты его прежде, и не раз, но только запаматовал, где и когда... И вдруг—как откровение, как разгадку—ты находишь ее неожиданно: в пути, в деревне, где-нибудь на ферме или на лесах новой стройки из-под туго повязанного платка глянет девушка-малыш, а то склонится над тобой в больнице милосердная сестрица... Так вот же оно, вот это знакомое лицо, нет, не лицо—выражение!—доброты, глубины и той особой озабоченности, по какой узнаются хозяйки—своей судьбы и своей страны.

Знакомое, милое лицо...



несколько лет назад я перевел научно-фантастический рассказ Адама Незуагхюма. Он назывался «Профессор Сейс и судьба Альфы Ориона».

Недавно, в последнем рейсе, я купил в Монреале его роман «Четверг верхом на мотоцикле».

Это довольно странная книга.

Пожилой промышленный шпион обречен на разоблачение. Он знает, что на допросах его ждет мучительство. И вшивает себе ампулу с ядом. Она сработает, если на клапан подействуют определенные звуковые частоты и мелодия — «Реквием» Моцарта. И вот когда герой засыпается, то говорит мучителям, что откроет все секреты, если ему дадут послушать «Реквием». Реалистические эпизоды в этой книге Адама перемежаются картинками, которые рисует воображение под действием музыки. И рефреном проходит мысль о том, что смерть делает значительной человеческую жизнь, но сама наша жизнь — очень хрупкая штука.

Около двух ночи двадцать пятого ноября мы подходили к Нью-Йорку, скользили по лунной дорожке прямо на запад — курсом 270°.

Было полнолуние. Лунные блики украшали сталь палуб.

Левее носа вспыхивал мощным, неземным, космическим светом маяк Амброз. Удары маячных вспышек вышвыривали тьму из самых потаенных закоулков рулевой рубки.

Справа светились огни на острове Лонг-Айленд, они были оранжевыми с вкраплением кроваво-красных. Оранжево-красные отблески украшали длинное острое ночное облако, отделявшее сушу от небес. Сквозь облако транслировались отличительные огни идущих на посадку и взлетающих самолетов.

Справа по корме, нелепо задрав лапы кверху, стояла на голове Большая Медведица. Из ее опрокинутого ковшика выливалась крошечная тьма полуночи. Американский лоцман весил килограммов двести и выглядел старым боксером, который теперь добродушно работает в хорошем ресторане штатным выпибалой.

Лоцман вывалил из своего портфеля десяток журналов и газет — обычный знак любезности по отношению к капитану и экипажу, одичавшим без новостей и глянцевиных красок в океанских пустынях. Вывалив ворох гнилой пропаганды и путевую карту на штурманский стол, лоцман вынул традиционное: «Фулл экхид!» — и мы дали сто десять маневренных оборотов.

Луна провалилась за мыс. На ее месте видна стала Кассиопея, которая лежала на боку.

Лоцман связался с начальством и обрадовал нас тем, что до семи утра к причалу мы не пойдем, станем на якорь в бухте Грейзенд.

Тем временем мы плыли по каналу Амброз. Проблесковые буй подмигивали с правого борта, какой-то синий огонь мигал с левого. На Лонг-Айленде видны стали многоэтажные дома с красными огнями на крышах. И мы начали поворачивать вправо.

И прямо по носу открылся огромный мост над проливом Тэ-Нарроус с пролетом между опорами в тысячу двести метров и высотой в семьдесят.

— С рассветом поставлю вас, капитан, к причалу номер семь в Бруклине, — сказал лоцман. — Предупредите своих парней, капитан! Если кто-нибудь из них, возвращаясь вечером из города, навестит бар здесь, в Бруклине, чтобы промочить глотку пивом, то это будет его последнее пиво в жизни, капитан! Здесь отбросы человечества, и здесь нет баров, а есть притоны. Здесь всякие разные пуэрториканцы и другие страшные бедолаги, которым нечего терять. Право на борт и малый вперед!

И мы покатались по широкой и плавной дуге на якорное место № 49-С — для судов со взрывчатыми веществами на борту», хотя никаких взрывчатых веществ у нас не было. Мы катились по этой дуге, пока шикарный мост не остался по корме. И тогда шлепнули правый якорь в воду и положили на клюз три смычки.

Было четыре утра.

Я вышел на крыло мостика. Глухая ночная тишина царила над проливом Тэ-Нарроус внутри круга огней. Недалеко спал на якорь еще один теплоход. Звезды исчезали за рядами предутренних облаков, облачка веером сходились к мосту между Бруклином и островком Статен. Очень сильно пахло рыбой. Это не самый ароматный запах, но ныне он приятен тем, что показывает наличие какой-то жизни в окружающей среде.

Ложиться спать я не стал, пил чаек в каюте и листал американские журналы.

В окно каюты была видна ночная океанская тьма, черный провал, а в другой стороне все летел и летел над проливом Тэ-Нарроус огромным бумерангом однопролетный мост. Бумерангом я его назвал потому, что он все летел, летел и не улетал.

Из черного океанского провала выплывали корабли, показывали зеленые отличительные, и, сдерживая нетерпеливый порыв к близким причалам, нацеливались под огромную мостовую арку, и как-то бережно вносили себя под тень свода, под изгиб пролета, под цепочку мостовых огней. И каждый раз казалось, что матчи океанских кораблей царапнут мост.

Океан из черного начал перекрашиваться в сиреневый, именно в сиреневый: как будто господь размешал в воде миллиард тонн лепестков сирени. И все вокруг замерло в мглисто-томительно-спокойном ожидании нового дня. Только по бумерангу моста все чаще и чаще мелькали фары проснувшихся автомобилей, а океан вовсе заштил.

Утро рождалось мягким и нежным до неприличия, до мягкости сонной молодой женщины.

Лоцман встревожил утренний покой, появившись в рубке. Он крутил рукой, как пропеллером, изображая брашпиль, то есть торопил выборку якоря.

Мы выбрали якорь, причем с далекого носа четко доносился перестук-перегрохот якорных звеньев, и дали ход.

Лоцман попросил поднять флаги «М» и «Джи». Я послал рулевого на фалы, а сам подменил его — стал на руль. Было приятно стоять на руле, когда огромное судно несет себя под мост, а вокруг — Нью-Йорк. Справа по носу возникали из утренней дымки небоскребы Манхэттена. Они были прозрачными, бесплотными. Розовое и чуть зеленоватое небо обвивало их. Левее завиднелся островок Либерти или Бейдос-Айленд со статуей Свободы, он был еще далек, нам предстояло свернуть к причалам Бруклина, не доходя до него. Свобода в бинокль напоминала цветом окислившуюся бронзу и медь всех старых памятников мира, над которыми потрудились тысячи поколений голубей или чаек.

Солнце взлетало быстро, обращенные к нему грани манхэттенских небоскребов вдруг прочитались альбы вертикальными отблесками, но все равно не обретали веса. Тяжелый и тяжкий город продолжал витать в воздухе. И небоскребы Манхэттена глядели на плывущие корабли, как пирамиды на французских солдатах.

У длинной и плоской автомашины, опершись рукой в желтой перчатке на

Виктор
КОНЕЦКИЙ

РАССКАЗ

ТРИ ЧАСА У АДАМА И ПЭН В НЬЮ-ЙОРКЕ

открытую дверцу, стоял на причале номер семь еще молодой человек и попыхивал трубкой.

— Хэлло! — крикнул он мне. — Пожалуй, это ты, а?

— Это я! А ты — это, пожалуй, ты, а? — ответил я.

— Моя жена Пэн катается на катке Лувер Плейз, — сообщил он, хлопая меня по плечу в самой американской — размашистой — манере.

— О'кэй! — сказал я.

— Сейчас поедем за моей женой Пэн на Лувер Плейз. Как Атлантика, дружище?

— Всю дорогу от Европы — прямо между глаз до десяти баллов. Зато ваш Нью-Йорк встретил нежностью.

— Ты легко одет. Не простудишься? Здесь зима.

— Ваша зима какая-то неубедительная.

— Потому мы с Пэн завтра улетаем в Найроби. Садись! — сказал он. И я с удовольствием забрался в машину, где было тепло и пахло трубочным табаком.

— Моей Пэн уже двадцать шесть, но она все еще совсем молоденькая, — сказал он, усаживаясь за руль. — Я живу с ней уже семь лет и очень ее люблю. Сейчас она катается на коньках на Лувер Плейз, а все на нее смотрят. Не очень-то я люблю, когда все на нее пялятся. Сколько у тебя времени?

— Часа четыре.

— Тогда надо торопиться, — решил он, и мы поехали.

— Неужели ты сам так хорошо выучил язык? — спросил я.

— Я знаю десять языков, дружище. Ничто мне так легко не дается, как языки. «Ты попуай, дружище!» — так мне сказал Вася Аксенов. А Пэн русская. Третье поколение русских американцев. Ее зовут Пенелопа, но мне больше нравится Пэн. А ты как находишь? Мы с ней, как Ромео и Джульетта, — очень любим друг друга. Я даже не знаю, что стал бы делать, если бы не было на белом свете Пэн, которая сейчас катается на коньках.

— Тебе повезло, — сказал я.

Он молчал, потому что у выезда с причала № 7 скопилось много грузовиков с прицепами и было сложно маневрировать. А я подумал, что вечно хочу спать, как только оказываюсь на чужом берегу. Еще меня немного беспокоили разные судовые дела, которые я бросил ради встречи с Адамом.

— Да, даже и не знаю, что стал бы с собой делать, если бы не было Пэн, — задумчиво повторил Адам, когда мы выбрались из автомобильной каши. — Пожалуй, я не написал бы без моей Пэн ни единой строчки.

— Тебе повезло, — повторил я.

— Да, очень, — согласился он.

Не было в нем ни капельки того нахальства, которое мне почудилось при разговоре по телефону. Наоборот, он выглядел большим, но очень незащищенным.

— Где мы едем, дружище? — спросил я.

— Где-то в Бруклине. Я его совсем не знаю. Пожалуй, я здесь первый раз. Вот когда мы возьмем Пэн, она будет тебе обо всем рассказывать. Пэн все знает, что надо рассказывать иностранцу в Америке. Я даже и не знаю, что стал бы с тобой делать, если бы не было Пэн, которая катается на коньках возле большой зеленой елки на катке Лувер Плейз.

— Как идут твои литературные дела? — спросил я.

— Очень хорошо! Я даже сам не понимаю, почему они идут так хорошо! Вероятно, они идут так хорошо потому, что мне на них наплевать, если меня ждет Пэн на катке возле зеленой елки и где все на нее пялятся...

— Если Одиссей еще раз скажет про Пенелопу, которая катается на Лувер Плейз, — сказал я, — то я дам ему в ухо: руки у тебя заняты, и я ничем не буду рисковать!

— Вот это да! — ухмыльнулся он и на всякий случай пихнул меня в плечо огромной лапой в желтой перчатке, отодвинув к дверце. Машина была широкая, и между нами образовалось полтора метровое пространство.

— Вот это да! — сказал я. — Ты все-таки поосторожнее!

— Она тебе понравится. Можешь мне верить, — сказал он. — Я ведь на самом деле знаю не знаю, что стал бы делать в этом дурацком мире, если бы не было моей любимой Пэн!



Рисунок Ольги ВОЛИКОВОЙ

Мы вырулили на Бруклинский мост. Это заклепочный мост. Таких в мире уже пруд пруди. А вот небоскребы Манхэттена продолжали мне нравиться: они остаются легкими даже вблизи — так уж они устроены.

Каток Лувер Плейз — в центре Манхэттена, среди тяжелых домов и еще в каменном четырехугольном углублении. Этакий сухой плавательный бассейн с дном из искусственного льда. В изголовье катка стояла огромная елка, окруженная строительными лесами. По лесам ползали рабочие в касках и монтировали электро-рождественскую аппаратуру. Зеваки глядели на рабочих снизу вверх, а на катающихся — сверху вниз. Катающиеся — их было всего человек двадцать — после каждого своего пируэта или удачного поглядывали на зевак со дна бассейна. Все старались кататься в манере профессиональных фигуристов, но всем это плоховато удавалось. Чем-то они напоминали замороженных рыб на горячей сковородке.

Кроме, конечно, Пэн.

Она завивалась и развивалась в центре. Она была в коротенькой красной юбочке, золотой жакетке и золотой шляпке с черным пером. Зеленовато-стальной лед служил ей отличным фоном.

— Пэн! — крикнул Адам. — Пэн! Я привез русского! Он уже хотел стукнуть мне в ухо! Пэн, иди поскорее переоденься и спаси меня от русского!

Она помахала ручкой и завертелась волчком, как вертятся все фигуристы под телекамерами, когда ставят точку в программе.

— Ходить сюда — плохой тон, — объяснил Адам, — но мы с Пэн не обращаем внимания на такие вещи. Она тебе понравилась?

— Интересно, какого ответа ты ожидаешь?

— Здесь нельзя держать машину, — сказал Адам. — Мы немного отъедем, а я схожу за Пэн. За ней увяжется много разных белых и черных мужчин.

— Тебе не надо будет помочь? — неуверенно спросил я, ибо даже легкая драка не входила в планы моего знакомства с Нью-Йорком.

— Нет, спасибо, дружище, — сказал Адам. — Обычно я справляюсь сам.

— «Это меня устраивает, док!» — сказал я словами одной героини из фантастического рассказа Адама. Героиня произносит эту фразу, когда узнает, что муж помолодел на двадцать лет.

— О'кэй! — сказал Адам и кивнул, хотя явно не узнал своей цитаты.

Мы уехали довольно далеко от Лувер Плейз, пока нашли цель для автомобиля.

— Мне можно будет здесь погулять? — спросил я.

— Да. Только не уходи далеко. Если вокруг машины начнет крутиться полицейский с бумажками в руках, объясни ему, что я скоро вернусь.

— О'кэй! — сказал я, хотя в мои планы не входила даже легкая беседа с нью-йоркским полицейским.

Адам исчез в потоке спешащих людей. И я ощутил брошенность. Как будто мне пять лет и мама забыла меня на вокзале.

Я вылез из машины, увидел недалеко нищего и решил определить степень альтруизма спешащих мимо американцев.

Нищий был слеп. В больших стеклах черных очков отражались прохожие — маленькие, четкие, красочные, как в видискателе фотоаппарата. У левой ноги слепца стояла старая собака, вероятно, овчарка. Она была в теплой попонке, но сильно зыбла без движения. Она была седая, умная, терпеливая, отчужденная и от хозяина и от уличной толпы.

Одной рукой слепец держал повод собаки и маленький транзистор, другой — традиционную кружку. Транзистор наигрывал веселое. Тыл нищего прикрывала витрина магазина фирмы «Вулсворд». На витрине торчали ногами вверх женские торсы, иногда в колготках, иногда в чулках, иногда без всего.

Никто ничего слепцу не подавал.

Собака-поводырь начала дрожать такой крупной дрожью, что хозяин заметил это и тронул поводок. Собака ровно и монотонно зашатала к перекрестку и стала на краю тротуара, глядя на светофор. Когда зеленый зажегся, она мощно пошла через авеню, грудью расталкивая прохожих перед хозяином.

А близко от меня остановилась старуха негритянка и уставилась на витрину, где торчали вверх тормашками женские манекены. Головного убора на старухе не было, а череп ее был выбрит или она уже натурально была абсолютно лысая. Лысый черный череп, грязный балахон до самой земли, тяжеленные серьги в огромных распухших ушах, миллион морщин от миллиона терзаний всех ее предков — жутчайшая старуха. Она кривлялась, подтанцовывала перед своим отражением в витрине, задевая меня балахоном. Я начал бочком подаваться в сторонку, но она все сдвигалась за мной, пока я не уперся спиной в будку телефона-автомата. И тут я заметил край ее глаза из-за огромного уха. А как только старуха заметила, что я заметил ее излучающий, приценивающийся, щупающий взгляд, она перестала скрывать его, повернулась ко мне и уставилась прямо в упор — с расстояния меньше двух ярдов. При этом она продолжала, кривляясь, подтанцовывать и бормотать что-то сквозь два желтых зуба и отвисшую губу. И мне почудилось, что брызги ее слюны долетают до моего лица, но мне было неловко утереться, чтобы не оскорбить старуху и не разозлить ее.

— Брэк! — попросил я ее тихо.

Она заверещала нечто вроде нашего: «Глядите, люди добрые, он старую бьет!» И я оказался на волосок от крупных неприятностей, если бы Адам не подхватил меня в охапку.

— Ты что делаешь? Разве можно?! Никогда не смотри незнакомым в глаза на улице! — говорил он, впервые путая русские и английские слова. — Им всегда может почудиться, что ты задираешься! Она выпарапала бы тебе глаза! — Он впихнул меня в машину и прихлопнул дверцей. И я очень обрадовался тому, что огражден от американской уютной действительности, и, конечно, еще тому, что передо мной сидит Пэн. Она действительно была очаровательна и чертовски соблазнительна. И, чтобы преодолеть врожденную стеснительность, я грубовато спросил:

— Послушайте, ребята, почему это женские манекены торчат у вас в витринах ножками вверх?

— Вероятно, так виднее товар покупателям, — объяснила Пэн.

— А почему у вас никто не подает слепым нищим? Я десять минут наблюдал нищего, и никто ему не подал! Это безобразие, ребятки!

— Где ты видел нищего? — удивился Адам, выводя автомобиль из щели паркинга.

— Да ты оставил меня рядом с ним! Слепой, с собакой...

— Клянусь мадонной, не видел! — пробормотал Адам.

— Понимаешь, — начала объяснять мне Пэн, морща чудесный носик и наматывая кудряшку на пальчик, — Ад полон внимания и симпатии ко всему миру — ко всему миру в целом, но вообще-то он замкнут в оболочку чудовищного эгоцентризма! Молчи, Ад, молчи! — воскликнула Пэн, хотя Ад не отверзал уста. — Он не видит нищих и знать не знает, что в стране несколько миллионов безработных. Его цель — любовь, а не гражданская справедливость...

— Пэн, конечно, права! — сказал Адам. — Она всегда права, эта Пэн! Слушай ее внимательно, дружище!

— Ад — искатель и исследователь гуманистической тайны, — сказала Пэн, — но он равнодушен к тому, как проявляется справедливость в повседневной жизни... Ад, ведь ты не ощущаешь никакого долга к «человеку с определенным артиклем»?

— Пэн, дорогая, я запутался, — сказал Ад, сворачивая с шумной авеню в тихий закуток, к какому-то скверу. — Куда мы едем, дорогая? Оказывается, они оба потеряли путеводную нить поездки. Мы стали возле памятника с бюстом какого-то великого человека, и Пэн с Адамом принялись обсуждать, куда меня везти.

Я глядел на тихий сквер, конечно, зажатый и стесненный высокими домами, но не раздавленный ими; по-европейски уютный старый сквер с черными зимними деревьями, остатками мертвых листьев на газонах и влажными скамейками, с глухой стеной из прокопченных кирпичей сзади и отражением далекого неба в луже на дорожке, со старыми воробьями и остатками ягод на кусте боярышника и бюстом великого человека у дома, в котором он когда-то жил.

Мы медленно и неуверенно тронулись, и я разобрал буквы на памятнике: «Вашингтон».

— Георг Вашингтон? — спросил я с тем оживлением, которое всегда возникает, если в чужом мире наткнешься на знакомое.

— Да-да! Вашингтон! — сказал Адам. — Наш великий Георг!

И тут я явственно разобрал имя. Его звали Ирвинг.

— Кажется, это Ирвинг, — пробормотал я с той дурацкой инерцией, которую так же глупо ловить за хвост, как ящерицу, но вот почему-то произносишь ненужные звуки — с той же бессмысленностью и даже вредностью, с какой хватаешь отделяющийся хвост несчастной ящерицы.

— Черт возьми, Ад! — воскликнула Пэн. — Это Ирвинг!

— Неужели? — спросил Ад. — А кто это такой?

Пэн наклонилась к рулю, потеряв щекой о перчатку Адама и сказала:

— Я тебя безумно люблю! Ирвинг Вашингтон — наш великий поэт и историк, дорогой! Запомни, пожалуйста!

Ад засмеялся и погладил жену по легким волосам лапой в грубой желтой перчатке.

— Я был бы совсем диким коблем, если бы не моя подружка Пэн. Слушай ее внимательно, дружище! — сказал Ад.

— Маяковский тоже иногда ошибался, — сказал Ад, несколько переживая конфуз с Вашингтоном. — Он спутал Гудзон с Ист-Ривер. Он написал в «Бруклинском мосту», что это мост через Гудзон, а это через Ист-Ривер, — объяснил Адам, поворачивая на авеню Америки. Мне же казалось, что Метрополитен музей, куда мы собирались поехать, в другой стороне. Ночью я проглядел план Нью-Йорка, и штурманская память теперь все время работала впопад и невпопад, она не выключалась.

— Мы не туда зарулили, — сказал я. — Метрополитен слева.

— Не может быть! — воскликнул Адам. — Пэн, дорогая, ты как думаешь?

— Разбейтесь сами! — заявила Пэн, переходя на французский.

— Значит, Маяковский спутал реку с проливом, и это ему никогда не простится? — спросил я, гордясь в душе тем, что знаю, что Гудзон и что Ист-Ривер.

— А вы бы простили Ирвингу Вашингтону, если бы он спутал Василия Блаженного с Исаакиевским собором? — спросила Пэн.

— Дружище, ты прав! Нам в обратную сторону! — согласился Ад. — Боже, куда они лезут?! Боже, наши пешеходы самые неожиданные в мире!

— Осторожно! Собака! — сказала Пэн.

Ад затормозил перед бесхозной собакой на 47-й стрит. Собака была дворняга, черная с белыми ушами. Она немного покружила на перекрестке, потом уселась на проезжей части. Полторы сотни автомобилей остановились и загудели. Дворняга если и нервничала, то чуть-чуть. Она, сидя, повликала хвостом и крутила головой. И все водители продолжали сидеть на своих местах, в своих карах и возмущенно крутили головами, но никому не приходило в голову вылезти и прогнать собаку.

— Ад, вылез и прогони собаку! — сказала Пэн.

— Почему бы тебе не размяться самой, дорогая? — спросил Ад.

— Давайте, буржуи, я вылезу, — предложил я.

— Нет-нет, ты наш гость! — сказал Ад, ревя клаксоном.

С правой стороны перекрестка также ревел огромный «форд». За его рулем сидел хилый юноша лет пятнадцати.

— Он напичкан наркотиками, — сказал Ад, — как Наполеон был напичкан идеями. Вот вылезешь, чтобы прогнать собаку, а он тебя и переедет! Потому-то я и не могу разрешить такое дело гостю.

— Почему же ты посылал на такое опасное дело Пэн? — удивился я.

— Просто он знал, что я скорее соглашусь здесь ночевать, чем вылезу. Я ленивая женщина, — объяснила Пэн.

К сидящей на перекрестке собаке подбежала еще собака. Сидящая собака, ясное дело, вскочила, и они начали обнюхиваться. А с тротуара к ним рвалась третья собака, но ту хозяйка крепко держала на поводке.

— И ни одного полицейского! — воскликнул Ад. — Когда-нибудь собаки нас погубят! Я знаю людей, у которых уже по десять собак! Ты прочитай «Азарт Абсурда»? Нет-нет! Это не моя вещь, это Стенли Студент. Он, как и мы с Пэн, не стремится к реалистической фотографии в прозе. Он делает повествование несколько загадочным и околдовывает читателя.

— Не гуди больше, Ад: они привыкли, а у меня заложило уши, — попросила Пэн.

Собаки действительно совсем не реагировали на вой вокруг. Так чайки плевать хотят на туманные вопли буя и умудряются спать, сидя верхом на нем.

— Что ты собираешься купить своей любимой? — спросил Адам.

— Шубку за двадцать пять долларов, — сказал я без колебания, так как предвзвешенно обсуждал этот вопрос с матросами-товароведами.

— Это не самая дорогая шубка, — заметила Пэн. — Из чего она?

— Из дербаса, — сказал я.

— Наверное, это новый материал, — сказала Пэн. — Я еще про такой не слыхала.

Собаки наконец убежали с перекрестка.

— Я не побоясь сказать, — продолжал Адам гнуть какую-то свою линию, — что в последнем романе одним махом продвинул вперед повествовательный жанр, отважись ради этого на мистификацию и запугивание читателя. Понимаешь, дружище, я пошел левее Фицджеральда в стремлении к волшебным чарам.

Машина вынесла на какой-то огромный сухопутный мост, Нью-Йорк провалился вниз, казалось, мы летим на «У-2» против ветра.

— Да, мы с Пэн верим в некий будущий союз науки с метафизикой под знаком искусств, — сказал Адам.

— Если точнее, то не искусств, а фантазии, — поправила Пэн. — Под радикалом фантазии, да, Ад?

— Да, дорогая! Я написал об этом эссе «Тазовые кости на голове мадонны», ты читал?

— Нет.

— Ад называет эссе не совсем точно, — поправила Пэн. — Надо «Кости таза на головке мадонны».

Мы свалились с моста и опять окунулись в смесь турбулентных завихрений, оживления, верчения, скольжения и торможения автомобильного потока среди раскованной толпы. И взгляд не успевал остановиться ни на чем. Все театральным занавесом сдергивалось к заднему стеклу машины.

— Где ты учился, Ад? — спросил я.

— Спроси у Пэн, — сказал Ад.

— Сегодня гений тот, кто сохранит в себе варвара! Ад гений, потому что не открывал ни одной книги по философии, хотя я прочитала их множество. И они валяются у нас всюду!

— Даже в постели! — сказал Адам. — Значит, дружище, ты не читал «Кости таза на головке мадонны»? Жаль! Феллини делает фильм по этой моей шутке.

— Они сразу сошлись с Феллини, — сказала Пэн. — Сразу! С полуслова! Их объединяют безграмотность и интерес к миру примитивных народов. Ах, это не для хвастовства близостью к тайнам, нет! Когда Федерико или Ад переполняются сложностью современного мира, они освобождаются от нее через простоту примитива. А примитив уже сам потом переходит и в их творчество, бессознательно.

— Ты любишь Феллини? — спросил Адам.

— Прости, дружище, нет, — сказал я. — Когда я вижу уродливые муляжи святых на газонах возле католических церквей, я сразу вспоминаю Феллини, — добавил я, ибо мне вдруг захотелось их немного побесить. Но этого не вышло.

— А кто с тобой спорит?! — воскликнул Адам, неожиданно сворачивая в глухую бетонную трубу-туннель с дежурным негром возле ворот. После оживленной предожественской толпы на улицах пустыньность трубы была особенно таинственна и даже иррациональна. И на какой-то миг мне даже показалось, что Адам собирается показать мне водородное бомбоубежище, но это оказался высотный гараж. Адам на ходу схватил протянутый дежурным талон, негр крикнул: «Седьмой этаж, сэр!» Адам газанул, и мы пошли ввинчиваться, задрав нос, в бетонную трубу-туннель-змею в общем направлении к Альфе Ориона.

— Сегодня каждый художник вынужден стимулировать в себе суеверие, чтобы оживить творческий стимул, — грустно сказала Пэн в темноте трубы. — Сама жизнь дает слишком мало поводов для творческого возбуждения и восторга от жизненной красоты. С этим-то ты согласен?

— Большинство не стимулирует, а симулирует, — сказал я.

— Ад, зачем ты сворачиваешь на пятый? — спросила Пэн. — Ведь черный внизу сказал «седьмой»!

— Дорогая, умоляю тебя! Пора тебе знать, что седьмой этаж — это открытая крыша! — с этими словами Адам свернул на пятый этаж, и мы медленно двинулись по бетонному склепу, уставленному автомобилями, в поисках места. Помещение напоминало центральный антирелигиозный музей в Ленинграде, то есть подвал Казанского собора. Одинокие вахтеры мерзли у телефонов, провозжа нас затаенно-вежливо-злыми взглядами старых музейных служителей.

— Если вы диалектики, — сказал Адам, — то должны понимать, что, став на путь радио, внедряя радио в производство и жизнь, пропитывая себя радио, вы обнаружите вдруг и у себя в культуре сильную струю иррадио — борьба противоположностей, так это называется, да, дорогая? Ни одного свободного стойла! Посмотрим шестой!

— Это повторяется каждый раз! — сказала Пэн. — Если черный внизу сказал «седьмой», значит, место есть только там, но Ад никогда ему не верит! И мы плутаем здесь, как туристы на Арлингтонском кладбище! Это и есть наш протест против радио, это наше ирро, понимаешь теперь?

— Ничего подобного! — не согласился Адам, заруливая в очередной виток бетонного змеевика. — Мы много раз обнаруживали здесь местечко! — И он начал медленно-похоронный обезд шестого этажа, битком забитого автомобилями.

— Ну, вот видишь, какая у него иррациональность! — воскликнула Пэн. — Разве он ее симулирует? Она у него — детская! И потому я так люблю его! И потому не боюсь за его будущее: ни мир, ни общество никогда не будут сводить с ним счеты — я очень-очень в это верю!

Адам хохотал — он вырुливал на крышу, в дневной свет, под ноябрьские небеса. А мне почему-то почудились в голосе Пэн черненькие, как нотные знаки, тени. И даже показалось, что Пэн совсем не так уж железно уверена в защищенности своего мужа от мира и общества. Но, может быть, мне так показалось только от мрака бетонного гаража.

— Вот наше место! — воскликнула Пэн и захолопала в ладоши. — Я умираю от голода! Мы сейчас будем очень вкусно есть в итальянском ресторанчике! — Она выглядела при дневном свете как счастливая девочка, но это не была инфантильность кокетки, это была открытая радость от близкого вкусного обеда молодой и счастливой женщины.

— Какая жалость, что нынче они не носят подвязок! — сказал Адам, обнимая правой рукой жену. Левою он крутил баранку, загоняя машину в стойло. — Я носил бы подвязку Пэн как браслет, я бы никогда ее не снимал...

Пожалуй, я давно уже никому так не завидовал, как Адаму и Пэн в этот момент. И потому сказал:

— Прекратите! Как не стыдно! Здесь одинокий моряк, а вы целуетесь!

Из итальянского ресторанчика, где мы вкусили спагетти, я позвонил на судно. Оказалось, что груз выкинули раньше срока, и меня уже ждали, и окончание прогулки с Адамом и Пэн получилось скомканным. Был час пик, конец рабочего дня. Пробки на каждом перекрестке, но самая длинная — хуже, чем в бутылке шампанского, — на подъезде к Бруклинскому мосту. Мы потеряли час, чтобы пропихнуться сквозь запутанные вензеля дорожной развязки. И мне стало не до разговоров о литературе. Нет ничего отвратительнее, нежели задерживать судно своей персоной.

А через двенадцать часов мы были в ста милях от Манхэттена, на подходах к плавающей Нантакет. И в слабейшей ночи, под покровом предутреннего сумрака, мне почудились голоса давно утонувших здесь китобоев:

Подналяжем! Эх-хой!

Загартуни кита наш гарпуники лигой!

Вероятно, я услышал голоса древних китобоев потому, что Ад и Пэн напичкали меня мистикой. На самом деле ничего не было слышно над успокоившимся после пяти суток шторма Атлантическим океаном.

В миле от плавающей китобоев мы повернули на север, к Галифаксу, и я пошел отсыпаться.



Знакомая,
Незнакомая,
Рожденная
Из родника,
К далеким морям
Влекомая,
Скользишь ты по лугу,
Река.

Под огненными
Рябинами
И золотом светлым
Берез
Играешь под вечер
Рубинами
И катишь волны
На плес.

Пропахшая зябкими
Росами
И медом поспевшей
Ржи,
И в стужу зимой
И веснами
Куда-то бесечно
Бежишь.

Но стихнет волна твоя
Скромная
И, словно живая,
Замрет,
Когда вдруг
Море огромное
Закроет собой
Горизонт.

Позтами в песнях
Воспетое,
И в ведренный день
И в грозу,
В небесную синь
Одетое,—
Вберет и твою
Лазурь...

И птицы пролетной
Выше я,
Когда на утесе
Стою,
Вдруг в шуме прибоя
Услышу я
Чуть грустную песню
Твою.

Граница

Граница рядом.
Тишина.
Плывет земля
Под звездной сенью.
Укрыта тишиной она,
Словно солдатской шинелью.

Среди заснеженных вершин,
Где гор хребты
молчат сурово,
Не спит солдатский карабин
И чуток взгляд у часового.



Евгений АНТОШКИН



Рабочий поезд

По лугам шел,
Шел лесами—
Был маршрут ему знаком.
Под парами-парусами
Плыл и пыхал угольком.

Разогнав ночные тени,
Встал на несколько минут,
Из поселков
И селений
Трудовой скликал люд.

И пошел по рельсам ходко,
Свой привычный груз повез—
И на торфоразработки
И туда,
Где сенокос.

Огласил гудком просторы:
Приобщайтесь к красоте,
Слесаря,
И комбайнеры,
И работники путей.

Сталью гулкою подкован,
В утренних лучах сиял...
Запах сена от Сонкова
Вплоть до Бежецка стоял.

Слово

Рождение чуда,
Пока не остыло тулово...
Как грани сосуда,
В руках у волшебника
Слово.
В холодную глину
Его он загадочно вложит.
И слово не стынет,
И слово веками тревожит.
И в дальней дороге:
Без хлеба,
Без друга,
Без крова,
Ты в вечной тревоге—
Ты в поисках верного слова.
И ночью не спится,
Как эхо волшебного зова,
То слово искрится
От Пушкина до Смелякова,
Как звон бубенца,
Как шутки и присказки дедов,
Как строгость отца,
Как мудрая песня поэта.
За поиск—наградой
Придет к тебе веще слово.
И скажешь:
Не надо,
Не надо
Мне чуда иного!

Сон

То ли плач,
То ли птица грустит?
То ли плащ,
То ли ветка хрустит?
Конский скач
Или бродит гроза?
То ли звезды,
То ли волчий глаза?

Я молчу,
Шелохнуться боюсь.
Это сон?
Или древняя Русь?
То ли плач,
То ли птица грустит?
То ли плащ,
То ли ветка хрустит?

Но, швыряя горький пар
Под откос,
Загребел на сто верст
Паровоз.
Искры в небо,
Как тысячи рук.
И по рельсам
Колес перестук.

Сон сбивая,
Как тяжесть оков,
Вмиг лечу
Через десять веков:
Сто пожаров,
Костров фейерверк,
Прямо в ярый наш
В атомный век.

Цвела рябина в мае

Цвела рябина в мае,
А рядом, под горой,
Мы дудочки ломали
Вечернею порой.
Ты был смешной, несмелый
И глаз не мог поднять.
А дудочка умела
О чувствах рассказать.
Мы в жизни знали мало,
И все нам было вновь.
А дудочка играла
Про первую любовь.
Тропинкою недлинной
Нас в лес она вела.
Но тонкая рябина
Взяла и отцвела.
Зачем я в лес ходила,
Зачем ты в лес ходил?
Так кто ж тебя, рябина,
Одну здесь посадил?



Мы собирали поздние грибы,
С утра блуждая
По лесным дорожкам.
Окуривая дымом голубым,
Кружило солнце
Над моим лукошком.

И было тихо,
Сказочно окрест.
Во всем лесу нас было
Только двое.
Тебе дарил грибы
Охотней лес,
Ты находила их в колючей хвое.

Откуда здесь они,
В лесной глуши?
И попадались мне они не густо.
И ты смеялась только от души,
Что до сих пор
Мое лукошко пусто.

А я молчал,
Для виду хмурил бровь
На пору ту последнюю
Грибную,
Которая,
Как поздняя любовь,
Хоть дорога,
А пылко не взволнует.

Кавказ

Вновь студит кровь,
Спускаясь с гор, вода.
И пенятся по скалам
Водопады.
Летят валы воды,
Круша преграды,—
Им гор уже не видеть
Никогда,
И оттого
Так холодна вода.

Священное величье горных рек!
Попробуй укротить их,
Человек!
Но он придет,
Холодных струй коснется,
И навсегда
Великим остается
Идущий вверх по скалам
Человек.

И он замрет на миг
От красоты,
Когда под вечер
Поплывут туманы,
Когда над всем,
Как грифы-великаны,
Торчат в снегах
Застывшие хребты.



В те года,
Когда и нас не будет,
Вот в такой же
Тихий летний час
Будут проходить
Бесечно люди,
И не вспомнив, может быть,
Про нас.

Мальчуганы—
Баловни округи,
С их игрой
Я в детстве был знаком.
В деревеньке
Где-то под Калугой,
Как они,
Я бегал босиком.

И пока
Умело сердце биться,
И влюбленным был
И был любим.
И кому дала судьба
Родиться,
Этот вечный путь
Необходим.

Я любил
Весенние проселки
И в вечерней дымке
Города.
А береза белая
На взгорке
В памяти осталась
Навсегда.

Будь и ты
Той памяти достоин.
И однажды путь окинув свой,
Вспомни—
Мир со всею красотой
Был тебе подарен
В час земной.

И дела его
Тебе итожить:
Сейте хлеб,
В степях сады растить.
И навек хранить его,
И множить,
И любовь к нему
Всю жизнь нести.

Вот бегут
Бесечные подростки,
Жизнь идет—
Ее не укротишь.
Я стоял на этом
Перекрестке,
Где теперь
Ты, радостный, стоишь.

В те года,
Когда и вас
Не будет,
Не угаснет
Вечной жизни ветвь.
И пока
Живут на свете люди,
Их сердцам
Гореть
И молодеть.



Рисунок Игоря СУСЛОВА

Кто из нас в детстве не мечтал побывать на Северном полюсе? Люди взрослеют, а мечта остается, хотя то, что еще вчера считалось необычным и романтическим, сегодня для многих людей стало вполне привычным. Вот и этот полет, не значащийся в расписании Аэрофлота, представляется командиру корабля, пилоту первого класса Александру Кулику едва ли не будничным. По крайней мере говорит он о нем совершенно спокойно. А летим мы не куда-нибудь, летим к куполу планеты, на дрейфующую научно-исследовательскую станцию «Северный полюс-23».

Над Ленинградом светит щедрое солнце. Видимо, на период командировки вижу его последний раз — впереди полярная ночь.

Кроме меня, на борту трое пассажиров. Это сотрудники опытно-конструкторского бюро Горьковского политехнического института Александр Семенович и Андрей Николаев, механик из Ленинграда Николай Семенович Боровский. Мы познакомились во время погрузки и сейчас продолжаем беседовать. В разговоре моих спутников часто звучит слово «полоса».

Создание ВПП (взлетно-посадочной полосы) на дрейфующей станции и поддержание ее в постоянной готовности — задача номер один. Это последняя опорная точка, связывающая льдину с материком. Работы по оборудованию аэродрома на СП — дело очень сложное. А создать взлетно-посадочную поло-

сизу на месте механика Михаила Андреева. Слева — командир, справа — второй пилот Анатолий Грибов, прямо по курсу — непроглядная тьма. На высоте шесть тысяч метров включили автопилот. Наблюдаю за четкими действиями экипажа. В короткие паузы Казачинский объясняет назначение множества различных приборов: гироскоп, радиолокатор, магнитный компас, радиоконпас. На его форменном кителе знак «За безаварийный налет 7000». У Михаила Андреева — 12 000 часов.

Неожиданно ночь наполнилась неопиcуемой феерией красок. Полярное сияние! В пульсирующем беге цветов преобладали фиолетовый, желтый и зеленый. Оказывается, полярное сияние — удовольствие только для пассажиров. И то не совсем приятное: начинаются головные боли, появляется сонливость. А для экипажа это бич. Сияние вызывает магнитные бури в ионосфере, от чего резко увеличиваются помехи, возможна потеря радиосвязи.

Штурман и бортмеханик устанавливают специальный блистер и астрокомпас для уточнения курса по солнцу и звездам. Это — необходимое условие при полете в высоких широтах.

Мы уже долго летим над Ледовитым океаном. Порой кажется, что нет ничего на всей земле, кроме снега. Последней черной точкой была угольная гора на окраине Певека. Гул двигателей убаюкивает.

— Проснись, приехали! — тормозит меня штурман. Низкая облачность. Третий раз делаем круг над льдиной. Ни льдины, ни огней ВПП — ничего не видно. Посадка — это как визитная карточка пилота, говорят авиаторы. Интересно, как наш командир в сплошной тьме будет предъявлять свою «визитку»?

Заходим в четвертый раз. В наушниках слышу, как командир просит СП поставить двух полярников с ракетницами в створе входных огней и при подходе метров за двадцать дать одновременный выстрел.

До полосы двести метров... сто... пятьдесят... тридцать... Вверх взметнулись две яркие вспышки. Машина проскакивает между ними. Самолетные прожекторы вырывают из мглы ледовую полосу.

В наушниках прозвучал голос радиста: «Станция «Северный полюс-23». Так спокойно объявляют названия станций в Московском метро.

С волнением ступил я на дрейфующий лед. Что испытывает человек, когда осуществляется мечта? Радость! Наивысшую. И, наверное, неважно, в какой точке земного шара находишься ты в эти минуты, мечта, ставшая явью, доставляет огромное удовлетворение.

Но времени на оценку своих ощущений не было

Роман ЗВЯГЕЛЬСКИЙ. Фото автора.

ЖИЗНЬ НА ДРЕЙФ



УТРО НА «СП-23» НАЧИНАЕТСЯ С ПОДЪЕМА ФЛАГА.

су для современного самолета вручную почти невозможно.

Молодые конструкторы Семенович и Николаев создали ледово-фрезерную машину на базе имеющегося на льдине трактора Т-54. Машина комплексная: может бурить лед, срезать небольшие торосы, заливать водой неровности. Весной прошлого года конструкторы прилетели со своей ЛФМ на льдину. За полтора месяца помогли удлинить полосу. И все же Арктика показала, что машина требует доработки: нужны более сильные буры, фрезы, гидрошланги. Сейчас ребята возвращаются на полюс с ящиками запчастей, какими-то новыми приспособлениями и желанием утвердить свое детище на льдине. Вместе с конструкторами летит Боровский, опытный полярный механик, в течение пятнадцати лет зимовавший в Арктике и Антарктике. Он останется на СП и будет продолжать осваивать и внедрять ЛФМ.

В самолете холодно: это грузовой вариант. Мы вынуждены переоблачиться в меховые доспехи. Только Боровский, кажется, не замечает мороза. Его крепкую грудь обтягивает полосатая тельняшка, на голове флотский берет. Николай Семенович — фронтовик. Начал воевать в сорок первом. Был механиком на подлодках, воевал на Севере, потом на Тихом океане. А после войны снова вернулся на Север. Он — живая история Арктики и Антарктики. Зимовал в третьей, пятой, седьмой и восьмой советских антарктических экспедициях. Дрейфовал на СП-12, СП-17, СП-18, СП-19.

Кабина самолета залита малиновым светом. За бортом глубокая ночь. Штурман Владимир Казачинский склонился над картой, уточняя маршрут. Радист Виктор Петров о чем-то говорит с наземной станцией.

Надо работать. Мы быстро разгрузили самолет. Пилоты выпили по кружке чая, заправили машину и ушли в Черский.

Полярная ночь плотной шапкой накрыла льдину. В свете прожекторов ходим с начальником СП-23 Арнольдом Будрецим по лагерю. Восемь домиков-блинцев, связанных между собой заиндеветшей гирляндой электропроводов, несколько полярных палаток, ровные ряды бочек с горючим. Справа — две радиомачты, слева — «метеокухня», в центре — высокая мачта с Государственным флагом СССР.

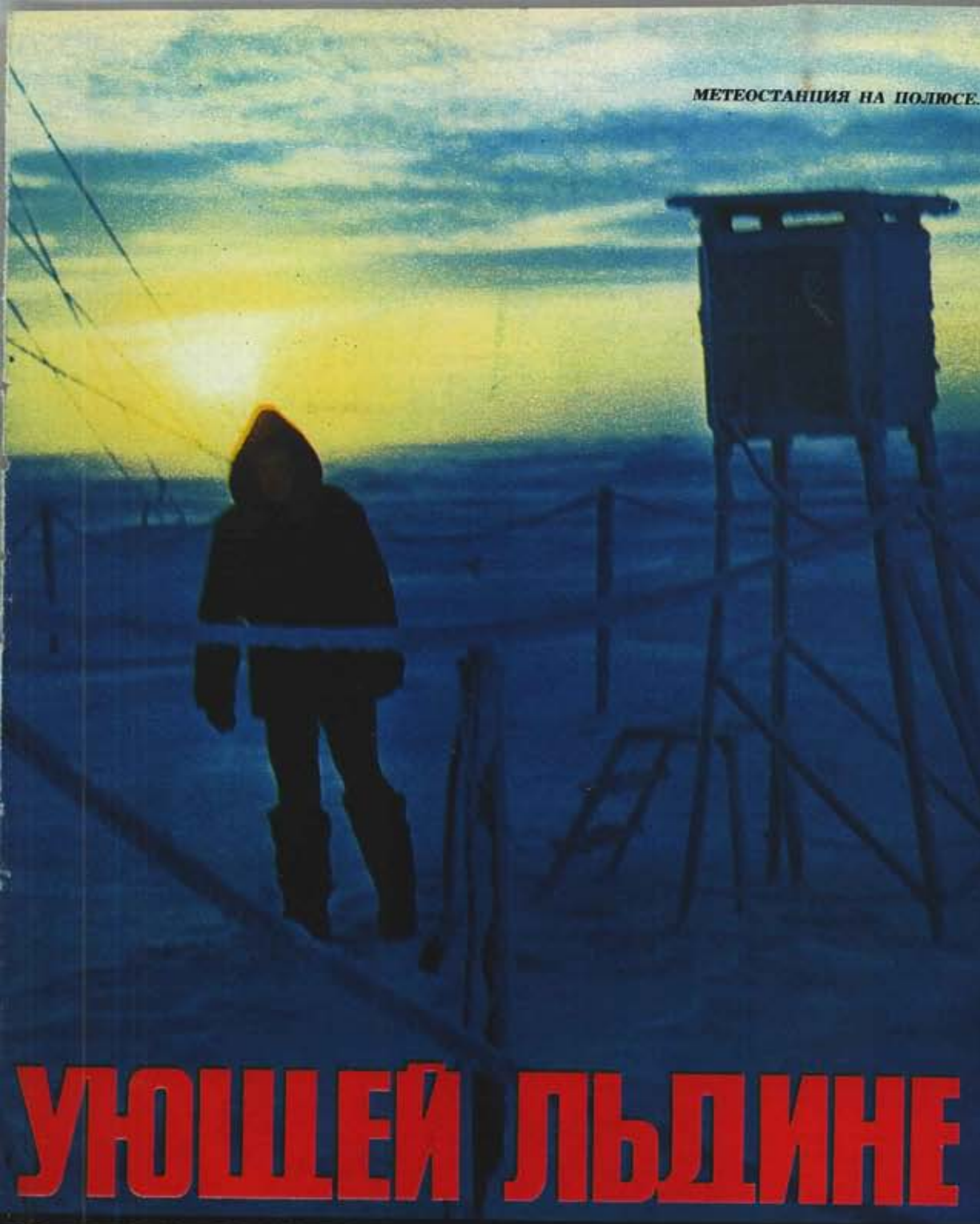
— Флаг поднят 5 декабря 1976 года, — говорит Арнольд. — За это время мы прошли более двух тысяч километров. Льдина наша небольшая, три на семь километров. Толщина льда — восемь метров, под нами сейчас глубина — пятьсот метров.

Перед отъездом сюда в коридоре Института Арктики и Антарктики кто-то сказал: «СП-23 по площади в сорок раз превосходит государство Ватикан, в котором проживает тысяча человек, и в четырнадцать раз европейское государство Монако». Так что площадь — понятие относительное.

Никакого ощущения, что ты находишься на поверхности океана. Все как на земле, запыленной снегом: свет в окошках, дым из трубы, собачий лай... И даже не верится, что вдруг может раздаться громоподобный оглушительный треск и предательницы-трещины начнут рвать льдину, как папиросную бумагу. Случается и такое. На СП-19, которой руководил Артур Чилингаров, лед был тридцатиметровой толщины. Остров не малый — восемь километров по ширине и четырнадцать по длине. Полярной ночью льдину разломало на куски. Погибла часть имущества. Зимовщики остались на небольшом обломке. А в это время — бывает же такое! — Москва передавала для них по радио концерт. Неимоверных усилий стоило комсомольско-молодежному коллективу вос-



ЛЕДЯНОЙ АЭРОДРОМ.



«Пришел на станцию большой медведь. Вел себя агрессивно: кидался на собак, заглядывал в окна, пытался залезть на крышу. Залпом из ракетниц отогнали за пределы лагеря».

Говорят, будто белые медведи чуют запах жареного за триста километров. Вот и собираются эти хозяева Арктики на запахи, которые «изобретает» Павел Волков.

Впрочем, это все так, «веселые картинки» из жизни на льдине. Будни же — постоянный, тяжелый труд, порой требующий от каждого неимоверной самоотдачи.

Не секрет: полярников, как и космонавтов, подбирают на совместимость. Дружба, взаимовыручка, коллективизм, долг — здесь эти качества проявляются на каждом шагу. Действительно, где, как не здесь, можно проверить себя в единоборстве с жестокой стихией? Жизнь создает тут порой такие препоны, что просто диву даешься, как человек с этим справляется. Постоянные низкие температуры воздуха, полярная ночь, длящаяся треть года, общение с ограниченным кругом людей, опасность разлома льдины... И сколько нужно оптимизма, собранности и внутренней силы, чтобы все это преодолеть. Я где-то слышал: «Здесь каждый миг романтикою пахнет и подвигу подобен каждый шаг». Но сюда специально за романтикой не приезжают, приезжают работать.

Врач Александр Шульгин катастрофически боится дисквалифицироваться и по этому поводу шутит:



ТВОРЕЦ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ — ПОВАР ЭКСТРА-КЛАССА ПАША ВОЛКОВ.

становить нормальную работу станции и продолжить дрейф.

На СП-23 одиннадцать человек. Самый молодой — радиоспециалист Борис Семискар. Это его первая зимовка после окончания Ленинградского арктического училища. Свое двадцатилетие Борис отпраздновал здесь, на дрейфующей станции. Повар Павел Волков преподнес имениннику торт в виде льдины, на которой они плывут. Волков — повар шестого разряда, он променял уютный ленинградский ресторан «Европа» на камбуз дрейфующей станции. Самый старший — механик Николай Васильевич Лебедев. Ему пятьдесят. Двадцать из них отданы Северному и Южному полюсам. На его кожанке знак «Почетный полярник».

Первое, что поражает при входе в жилые домики, кают-компанию, радиорубку, метеостанцию, камбуз, — тепло и зелень. Даже не верится — на улице минус пятьдесят, а тут, как в оранжерее, все цветет. Пилоты привезли на льдину мешок земли, и полярники устроили свою теплицу: кто фасоль посадил, кто лук... Налаженный быт — фактор на льдине немало важный. В трудовой книжке каждого из них специальность названа одним словом. Но все они владеют самыми разнообразными профессиями, без которых жизнь на льдине была бы просто невыносимой. Все, что здесь есть, не упало с неба — создано руками этих одиннадцати.

Что же влечет сюда людей, сознательно оставляющих на долгое время семью, уют, блага цивилизации? Сорок лет прошло со дня первого дрейфа папанинцев, но Арктика по-прежнему сурова и неласкова. Человек познал пока только крупитцы ее тайн. Раскрываются тайны не просто, за новые знания приходится платить колоссальными усилиями. А порой и жизнью.

На СП-23 зимовщики занимаются самым обычным

делом. Их работа входит в большой комплекс крупного советского эксперимента в северном полушарии «ПОЛЭКС».

«ПОЛЭКС» означает полярный эксперимент, который ставит перед собой важную научную и народнохозяйственную задачу: увеличить заблаговременность и точность метеорологических прогнозов. Потому круглосуточно, ежечасно, в любой мороз и пургу полярники наблюдают за температурой и соленостью морской воды, измеряют глубину, изучают нарастание морского льда на поверхности Ледовитого океана, ведут всевозможные астрономические наблюдения.

Если умножить каждый час дрейфа на долгих триста шестьдесят пять дней — это не такая уж простая работа.

Помню, когда я улетал из Ленинграда, в отделе арктических исследований института мне показали необычную телеграмму: «Срочно пришлите ракетницы. Нас атакуют медведи». Прилетев на льдину, я листал папку «Наблюдения за поведением белых медведей на дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс-23». Папка довольно пухлая, из которой становится ясно, что «гости» оказывают полярникам в самом прямом смысле слова медвежьи услуги. Они резко отличаются по нраву от своих сородичей из Московского зоопарка. Тут конфеткой или бубликом не отделаешься. Вот несколько записей:

«С утра на ВПП работал трактор. В 14.00 местного времени уехали на обед. В это время на полосу пришел медведь и сломал все транспаранты, оборвал лампочки...»

«Два медведя подошли к самолету, встали на задние лапы, обнюхали крылья. Когда заработали винты, они убежали. Спустя несколько часов вернулись».

«Здесь воздух разреженный, стерильный, все бактерии остались на материке». Действительно, полярники — народ крепкий, никто за год дрейфа не болен. Один только раз Саша демонстрировал свои способности эскулапа — зашил разорванную медведем морду собаки. Потому работает врач грузчиком и... психологом. Полярники не сверхчеловеки. И, как всем людям, им свойственны земные слабости. Бывает, зайдет кто-нибудь из товарищей на огонек и скажет: «Что-то на меня, доктор, хандра напала». Шульгин внимательно прослушает, простукает пациента, сядет рядом и предложит... стакан чая. Порой беседы затягиваются надолго, и настроение у затосковавшего полярника улучшается.

На льдине нет ничего долгожданнее почты. Это самое верное лекарство. Я знаю, в канун Нового года из Ленинграда на СП снова ушел спецрейс с письмами от родных, подарками и праздничной елкой. Традиция. И был этот день для полярников самым счастливым.

...Последний день на ледяном острове. Высоко в черном небе ярко горит Полярная звезда. Снова обхожу поселок в свете северного сияния и уже по-новому смотрю на все вокруг. Кажется, что недомики это, а памятники людям, отважно шагнувшим в ледяное безмолвие Арктики.

Знаю, не простят мне полярники высокопарных слов, потому воздержусь от эпитетов. Две недели пробыл я на льдине. Две недели — как один день. Самый счастливый.

Москва — Северный полюс — Москва.

Первым столичным журналом, который «пригреб» меня, была «Смена». Здесь я начал печатать зарисовки, очерки, и этот же журнал в 1957 году отправил меня в командировку на Красноярскую ГЭС, только-только разворачивающуюся.

Родная моя деревня Овсянка располагалась неподалеку от стройплощадки, и в ней обитало немало молодых строителей, поскольку с жильем, как и на всякой новостройке, на ГЭС было туго.

Здесь-то, в родном селе, произошла у меня прелюбопытнейшая встреча, значения которой я поначалу никакого не придавал.

Сидел я как-то вечерком на берегу Енисея, покуривал, побрасывал камешки в воду и услышал шаги. Обернулся. Ко мне приближалась молоденькая девушка в брючках. Век феминизации только начинал брезжить, не все девушки, далеко еще не все переоделись в штаны, а парни — в бабы, цветастые кофты, и молодая особа привлекла мое любопытство. Смело ко мне приблизившись, девушка попросила закурить. Я угостил ее сигаретой, и, умело затянувшись, она блаженно закрыла подведенные глаза: «Болгарская сигарета! Кажется, век не курила. Какая прелесть!»

Я неприязненно относился и отношусь к курящим женщинам — тут уж и истинный домостроевец — «деревенщик»! — и хотел было сказать об этом, но девушка оказалась из тех, кто не очень-то любит слушать кого-либо, кроме себя, и, заявив, что она сразу распознала «нездешнего» человека, понесла моих односельчан на все корки: «Разбойники, было, хамы...»

Я морщился, пытался вставить возражения, да куда там! Новожительницу Сибири понесло на удалых — и все под гору!

Мне бы забыть ее, ту девушку, и я забыл бы, наверное, — брань на ворота не виснет, тем более брань этакой, зелененькой еще, не только «пороха», но и своего хлеба не понюхавшей «труженицы», но вот я поотирался среди строителей, послушал их, посмотрел, а потом почитал их и о них стихи, очерки, газетные заметки, статьи, повести и даже романы — и меня поразила странная особенность: все, как сговорившись, писали и говорили о Сибири так, будто до них тут никого не было, никто не жил, а если жил, то никакого внимания не заслуживал!

«Стоп, ребята, — сказал я себе. — Так дело не пойдет! Это ж, значит, мне надо забыть свое детство, юность, отвести родню, предать забвению память о бабушке и бабушке, закрыть глаза на то, что тут было и есть, да и согласиться, что на озаренных огнем гидростанции берегах только и началось все хорошее, а до этого все было сплошь плохое и столь незначительное, что не стоит об этом и говорить...»

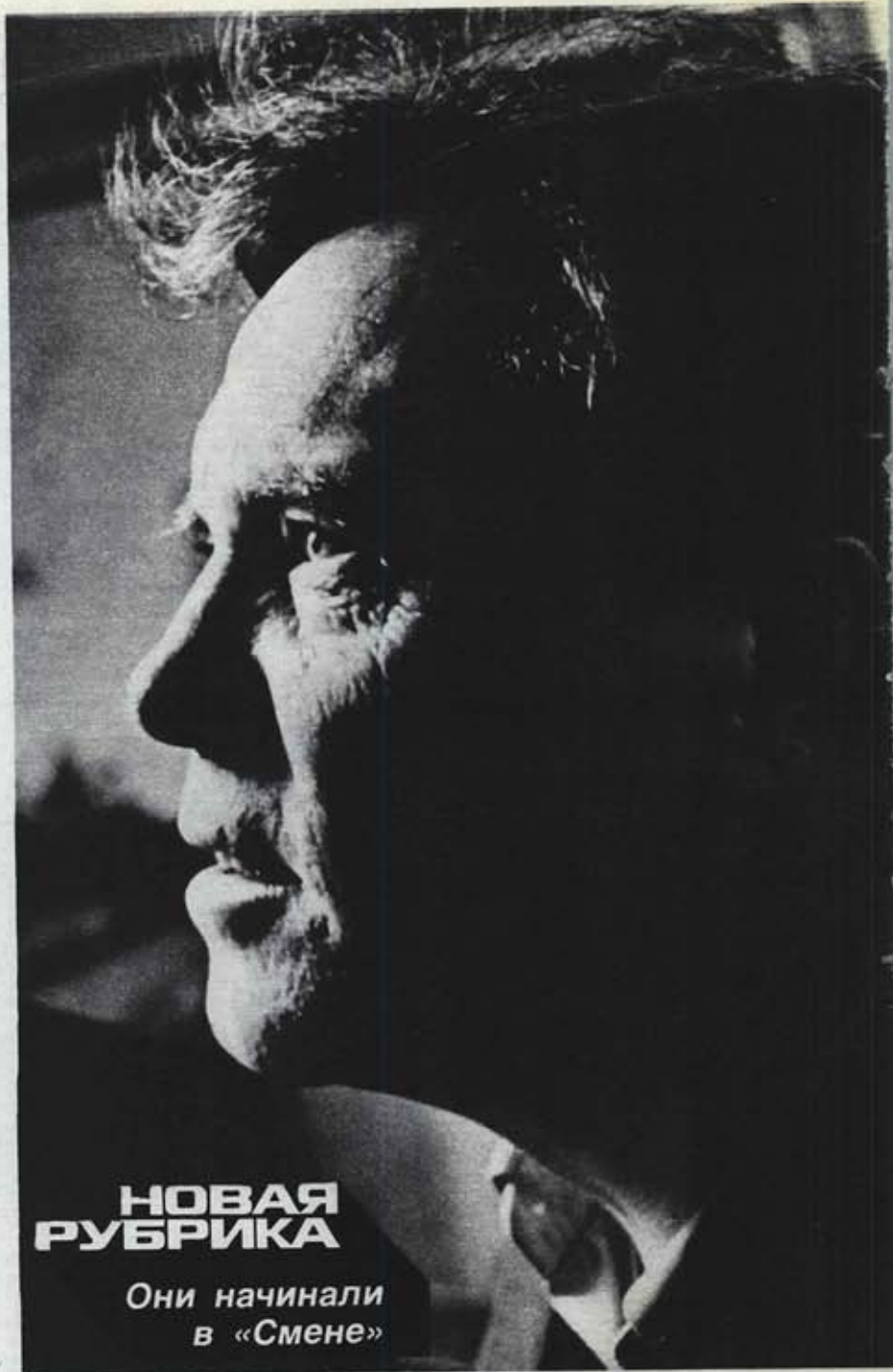
И у меня возникло не просто чувство протеста, у меня возникло желание рассказать о «моей» Сибири, первоначально продиктованное одним лишь стремлением доказать, что и я и мои земляки отнюдь не иваны, не помнящие родства, более того, мы тут родством-то связаны, может, покрепче, чем где-либо...

Словом, начал я писать какие-то полурассказы, со злым упрямством сохраняя «документальность», чтобы доказать: была здесь жизнь, были люди, и не хуже вас, таких модных и самонадеянных! Но злость — плохой помощник в писательской работе, и скоро я от нее избавился, однако «струю», в которую попал, оставить не захотел — писать обыденно об обыденной, неброской жизни, ибо и в ней, освещенной светом детства, виделась и слышалась мне своя музыка и поэзия, и краски, и сказки, и труд, и праздники, и смех, и горе — так начался «Последний поклон», который я писал на протяжении двадцати лет.

Давно уж построена Красноярская гидростанция, давно вырос рядом с нею город Дивногорск, расстроилось мое село, обновилось население его и всей округи, много односельчан уже ушло в мир иной, а книга, начавшаяся с маленьких зарисовок, застенчиво названных «Страницы детства», разрослась до большого повествования, которое завершают главы о трудных военных и послевоенных годах.

Одну из этих глав я на «законном основании» передаю в «Смену». Целиком книга «Последний поклон», состоящая уже из двух частей, намечена к выпуску издательством «Современник» в 1978 году.

В. Астафьев



**НОВАЯ
РУБРИКА**

Они начинали
в «Смене»

СОВЕТЫ

Виктор АСТАФЬЕВ

ПОВЕСТЬ

Миша Володькин, Петя Железкин — оба из города Канска — и я распределены были работать на станцию Базаиху, третью в те поры станцию, если ехать от Красноярска на восток, никакого, кстати, отношения не имеющую к одноименному поселку. Ныне город достал и вобрал в себя поселок Базаиху с одной стороны и станцию Базаиху с другой. А когда-то она с девятью путями, с желтым, просевшим в землю вокзалишком, с выводком домишек, рассыпанных вокруг него, среди которых полтораэтажный блокпост выглядел сооружением не только самым высоким, но и значительным, сиротливо ютилась под крутыми голыми косогорами.

Подле вокзала, у первого пути, брюхом в траве стоял пассажирский вагон, разгороженный надвое деревянной переборкой. В одной из половин, в той, где была сложена печка, нас определили на жительство. К работе мы приступили с первого же дня. Нас включили спецниками в составительские бригады, но предупредили, чтоб мы быстрее осваивались, привыкали к специфике станции и сами возглавляли бы бригады, поскольку в направлениях и удостоверениях об

окончании училища указано: «составители», а не «представители», мрачно связыв, беседуя с нами, начальник станции Иван Иванович Королев.

Человек седой, угрюмый, преклонный годами, он был из тех людей, что если уж полезут на дерево, то сперва выберут дерево по силам и тогда непременно взберутся до самой вершины — начав со стрелочника, он достиг того предела, который был по его умственным силам и грамоте, и на большее не прищеливался, но уж вверенную ему станцию знал вдоль и поперек, железнодорожные правила и премудрости ввелись в него вместе со станционной ржавчиной, пылью, суетой, руганью и пропитали не только легкие и сердце, но и тело насквозь. Поразил он нас тем, что не матерился — редкость для железнодорожника вообще, для начальника станции в частности. «Порченый», — решили мы единогласно, и такое ему прозвище от нас и прилипло.

«Спецификой» станции Базаихи было то, что составители поездов и многие специалисты жили в Красноярске, ездили на работу пригородным поездом. Товарная станция Красноярска, забитая до того, что казалось, нитки вот-вот лопнут по всем швам и полетит весь транспорт под откос, старалась как можно

«интенсивней» использовать пригородные станции. Но станция Енисей не больше нашей. Злобно—еще только начинала разрастаться, однако окружена уже была мощными предприятиями, действующими и восстанавливающимися в эвакуации, и сделалась станция Базаиха, до которой еще «доставала рука», чем-то вроде «милкиных ворот», перед которыми, «топнув копытами, конь остановится!». А как это остановится, когда идет война и Родина ждет!

Освоиться со «спецификой» успел лишь я, да и то не очень. Мишу Володькина и Петю Железкина, не успевших «стать на броню», тут же мобилизовали и отправили в формирующуюся отдельную сибирскую стрелковую бригаду, и остался я в просторном вагоне один, и завертела меня работа, и так я устал попервости, что ни разу не побывал во второй половине вагона, куда битком набили мобилизованных из деревень «на прорыв железнодорожного транспорта» девок, и они порой оживленно, можно подумать, с целью повизгивали и молотили в стенку кулаками так, что из переборки выпадали оконтуженные клопы...

Ох, не зря на транспорте говорится: «Бог создал любовь и дружбу, а черт—железнодорожную службу!» И поныне, едуци поездом, стою я у окна и гляжу на тусклые огоньки маленьких станций и как увижу дремлющую на отшибе маневрушку, встрепенусь, провожая ее взглядом в даль, глубже погружающуюся в тьму набегающих лесов, перелесков, снегозащитных щитов и ельников...

Девять станционных путей! Кому и какое дело до них? Один или девять? Главное, чтоб поезда шли. Маневрушку гоняли с первого пути, если встречный, то и со второго—стало быть, из девяти—два долой. А так как полыхала война и встречные да поперечные ошалело мчались день и ночь туда-сюда, то пускали нас работать на главные пути лишь на самом утре, когда все на земле замирало и транспорт тоже дышал устало, заторможенно. Девятый путь со ржавыми рельсами был забит «большими» вагонами, заблудившимися порожняком. На третьем и четвертом пути, от входной до выходной стрелки, вытянувшись, ждали череду, чтоб рвать в назначенные дали, «срочные», «спец», «литерные», «особые» и всякие другие поезда, названия которых поначалу пугали меня своей многозначительностью. В середине станции часто торчала беда и порча наших нервов—балластная вертушка с до зарезу нужным грузом: ко всем эвакуированным заводам «срочно», «экстренно», «по особо важному приказу» прокладывались ветки, и без балласта им не жить, не дышать.

И выходило: два-три пути в твоём распоряжении, товарищ составитель поездов, или «товарищ бригадир». Как назовут меня, бывало, «товарищ» да еще «бригадир»—я и по красноте, чувствуя, какой я еще зеленый, неумелый, как не соответствую высокому и важному званию, как подвожу станцию, транспорт, фронт!

Еще была в нашем распоряжении ветка в балластный карьер, где работали злые, перекипелые в горе женщины и рвал ручки круглосуточно рычащего, содрогавшегося от дряхлости экскаватора пожилой, животом мающийся машинист. И еще начала действовать новая, на живульку сшитая отводка на завод.

«Использовать вспомогательные мощности!»—призывал «порченный», вот и вертись, бывало, по-за станцией «используешь», а по первому пути мчат и мчат составы, высекая из рельсов искры—на запад, новые или латанные, с поющими, пиликающими на гармошках солдатами, на восток—одышливо, будто все время в гору, битые, издырявленные, сборные составы; реденько мелькнет белыми занавесками санитарный; тяжело пробухает по стыкам рельсов «спецпоезд» с тяжелым оборудованием из какого-нибудь еще одного города, сданного врагу.

Встанет поезд, отдаст машинист, чаще помощник, жезл дежурному по станции, и тут же оба они ткнувшись лицами в грязные, протертые подлокотники окошек, охваченные тревожной дремой, опустятся убито кочегар у горячей топки, и корбит ему жаром грязное лицо. Не курит, не говорит, спит с открытыми глазами кочегар, и машинист не убирает с реверса руку, так и отдыхает в «боевом положении».

Поезд облепляли неуклюжие, в серые, грязные брюки одетые, крикливые бабы—не бабы, девки—не девки, смазчицы, осматривающие вагоны, матерились громко, бегали прытко, а толку...

Выйдет с жезлом в руке дежурный по станции, товарищ Рыбаков, постоит, глядя на убитого усталым сном машиниста, на облепивших состав «тружениц тыла», вздохнет и виновато скажет: «Поехали, механик!».

На первых послесменных планерках меня еще «не замечали», и дежурный по станции точил до дыр оператора, стрелочников, составителей поездов, весовщиц и всех, кто под руку подвернется. Те отбихивались, как могли, женщины часто ударялись в громкий плач, и мне казалось, на станции обретаешь куча бездельников и разгильдяев—никто из них не умеет и не хочет работать, только то они и делают, что изо всех сил подводят Родину. Солидно помалкивал сидящий, как и положено главе семейства, в переднем углу густобровый, наспуленный начальник станции, чего-то черкал в откидном блокноте с форменными бланками, строго поглядывая в ту сторону, где сидел распекаемый дежурным нерадивый работник. Когда, наоравшись и наплакавшись, все умолкали, «порченный» прокашливался и подводил итог:

— Значит, дежурный по станции товарищ Рыбаков смену проанализировал, в опшзм и целом, так сказать, картину обрисовал, поработали, надо сказать, ничего, в опшзм и целом с грузопотоком справились, хотя не обошлось без накладок и все еще имеются простои, промахи и недостатки...

Не знаю, был ли он талантливым руководителем, если бы был, ему бы, наверное, дали станцию или должность побольше, но он много поработал на своем веку, посидел на железной дороге, хорошо знал ее «ндрав» и потому был человеком терпеливым и добрым, хотя, как и большинство железнодорожников, не чужд спеси и чинодральства, но ко всему этому не то чтобы быстро привыкаешь, скорее притерпеваешься, миришься с тем, что да, туповат наш брат-железнодорожник, зато пуговицы по пузу в два ряда!...

Словом, начальник станции, как и полагалось отцу-мировицу, все на шумной планерке успокаивал, вводил жизнь в берега, отпускал новую смену с наказаниями сделать то-то и так-то, кому-то грозил пальцем вдгон, кого-то поощрял добродушным воркованием, обещал дополнительные талоны на кашу и просил остаться ту или иную женщину после планерки—значит, беда, значит, похоронная. К этой поре прибывал пригородный поезд под названием «Ученик», который, пятясь задом, тащил паровозик «СУ»—сучка по-здешнему, и все, кто жил в городе, торопились уехать домой.

Мой наставник и бригадир Кирила Мефодьевич Зимин, высокий, грузный, с виду вяловатый мужик, умел, однако, без разгона, с места запрыгивать в катящийся вагон, на ходу сцеплял и расцеплял пусть и ржавые форкопы, на ходу же мог соединить или разъединить и перекрыть воздушные рукава и вообще работал как бы играючи. Во время планерки он садился в угол на пол и тут же крепко засыпал, и на работе, если случалась хоть маленькая остановка, он тоже мог мгновенно уснуть, хоть в дежурке, хоть на блокпосту, хоть в будке стрелочника, хоть на угле в тендере маневрового паровоза—большой силы, крепкой природы человек и опытный работник. Даже крикливый дежурный не решался на него орать, потому что Зимин вперед него и лучше знал, что, где и как надо делать.

Замечу, что работа составителя лишь со стороны кажется шальной-валяй, прыгай, бегай да сцепляй. И железнодорожный состав—это не сборище разномастных вагонов, как попало меж собой соединенных. Нет, железнодорожный состав—продуманное и довольно сложное сооружение, в котором все рассчитано по осям, тормозам, тоннажу, по техническим возможностям локомотива, по длине станционных путей—словом, с учетом многих технических условий движения поездов и правил сигнализации железной дороги.

К примеру, если сунуть двухосный пустой вагон в середину тяжелого состава—его может при торможении «выдавить», ну вот как иногда в очереди выдают человека—и он окажется наверху, и ему ничего не остается делать, как «идти по головам». Если торможение к тому же начнется «под горку»—не миновать крушения.

Кроме всего прочего, составитель обязан распределить по составу ручные тормоза так, чтоб в случае отказа воздушной магистрали можно было бы ими приостановить состав. В сборных поездах одиночные прицепки—вагоны, платформы, цистерны ли—располагаются с хвоста или с головы состава, чтобы на станции назначения их можно было отцепить, не делая лишних перекидок, но опять же с учетом тормозящих средств. Многие я уже забыл из этого, что обязан был помнить в ту пору и что знал, несмотря на малую грамоту, как верующий человек—«Отче наш».

Если планерка заканчивалась до прихода «Ученика», Кирила Мефодьевич Зимин оставлял фонарь в тамбуре «моего» плацкарта и долго с неподдельным

КОЖУРТЫ

«Поехали так поехали!»—отвечает машинист, зевнет, протрет ладонью глаза, и, коротко взревев, «ФЗДЭ» или «ЭМКА» буксанет на месте, «кинув» состав назад и, дождавшись обратного толчка, который катится от хвоста, брэнча буферами, словно щелкая гнилые орехи, тихо, почти невидимо шевельнется, и кажется, не состав поплыл, а наш желтый вокзальчик, по углам, наличникам и дверям крашеный для фасона коричневыми суриком; дежурный по станции поплыл со свернутым желтым флажком; девчонки-бабы с длинными молотками, со смазочными «чайниками» в руках, а за горой уже ревет, просится на станции другой состав, не менее важный и еще более срочный...

Вагонный парк к этой поре уже сильно пострадал от войны, вагоны пожгли и побили немцы, взамен их собирали старые, со сплошь заржавелой, немазаной сцепкой, худыми воздушными рукавами, расхлябанной тормозной системой, с буферами, которые звякали по-боевому громко, но так и норовили вывалиться на ногу или расплющить тебя. А уж борта платформ, стенки вагонов—дыра на дыре. Но попробуй на маневрах просыпать груз: уголь, руду, цемент, соль или чего еще—тебе так просыплот!...

изумлением смотрел на картинки, которые я вырезал из забытых кем-то на вокзале цветных журналов и налепил на беленые стены вагона, чтобы жить веселее.

— Рубенс,—шевели губами, трудно выговаривал Зимин,—«Похищение Яфродиты». Рембрант—Ди-ва-на... Гляди ты, все бабы голые да справные какие! Не по карточкам кормленные...

Я растоплял печку, целясь плеснуть на сырые дрова керосину из своего маневрового фонаря.

— А вот у тебя, скажем, пожрать ешь чё?

— Картошек сварю. В одиннадцать хлеб привезут...

— До одиннадцати, на картошках, после такой-то смены...—Он выглядывал в окно вагона и торопился.—Паровоз обернули. Я поехал. Ты вот чё, как выплывешь, ко мне валяй—дрова пилить поможешь, баба покормит. Пока!

Скоро Зимина вернули в Красноярск, и я начал работать самостоятельно, встречал его редко. Но вот запомнился он мне почему-то на всю жизнь—добродушным, хлебосольством ли, ничем не стоящими в сытой, мирной жизни и не



Рисунок Александра МЕНШИКОВА

имеющими цены в войну, умением ли все делать справно, ко всем относиться ровно, без подобострастной улыбки к начальству и без обидного списхождения к такому работяге, как я. Он не давал мне лихачить — прыгать с места в вагон, сигать на ходу с подножки, работать меж катящимися вагонами. «Поспеешь еще шею сломать! — увещевал Зимин. — Работа считай что саперная. Много нашего брата без ног, без рук мыкается. Калеке какая радость в жизни?»

Бригада моя состояла из четырех человек: составитель поездов, сцепщик, машинист паровоза и его помощник, который по военному времени совмещал и должность кочегара. Машинист у меня был хотя и в годах, но на вид моложавый, и звали его все Павликом. Любил он страстно пожрать и такой матерщинник был, что всей станцией его было не перематерить. Помощников его я не успевал запоминать — они часто менялись, уходили на самостоятельную работу, да и не выдерживали парни и девки крикливого нрава машиниста, а главным образом — его сыпучей матерщины.

Сцепщик мне достался небольшого ростика, какой-то занюханный, драный, сонный, с бородавкой на глазу и с грязно темнеющими усами. Звали его Кузьмой, жил он в Красноярске, и тамошние мудрецы знали, чего сбывать на пригородную станцию — «на тебе, боже, что нам не гоже»; не менее мудрые деятели пригородной станции, конечно же, сунули Кузьму самому молодому простофилю-бригадиру.

Моего сцепщика никуда нельзя было послать одного, он забывал или делал вид, что забыл, зачем его послали, засыпал на подножке маневрушки, прятался от меня на тормозных площадках вагонов, один раз, сонный, выпал с площадки и чуть не угодил под вагоны. Кроме всего прочего, он никак не мог запомнить правила сигнализации, путал «вперед» и «назад». Павлик крыл его на чем свет стоит, мне на каждой планерке всыпали по первое число, потому что работы становилось день ото дня больше и больше, один я с нею не справлялся.

Но однажды с Кузьмой случился голодный обморок, и мы узнали, что у него пятеро детей, все сыновья, хлеба не хватает, он давно уж досыта не едал, работа тяжелая, а уходить нельзя: где дадут такому трудяге хлебную карточку на восемьсот граммов да еще дополнительные талоны в столовую?

Присматриваясь к невзрачному, плохо умытому мужичонке, я дивовался: как же такой вот хмырь-богатырь сумел замастырить пятерых парней?

Павлик тоже был многосемейный, но изворотлив как дьявол, не давал жизни подмять себя, постоянно соображал и выискивал, где бы и чем поживиться, чтоб только паек его оставался семье. Как-то углядел он двухосный вагон, который долго не ставили ни в какой сборный состав. Вагон шибко нам мешал, и мы его то и дело катили с одного пути на другой. И Павлик, как я ему ни махал флажком или фонарем: «Тише!» — долбал и долбал этот вагон, да еще и паровозишко при этом ругал, совсем, дескать, дряхлая машина, либо на меня наваливался, что я-де сперва выплосу, потом сигнал даю.

Скоро, однако, все объяснилось. Павлик так разогнал свою «свечку» и так резнул ее буферами в буфера вагона, что оттуда раздался вопль, открылась дверь, на землю соскочил заспанный, лохматый человек и заорал на меня:

— За все ответишь, враг!

Павлик ухмылялся и подмигивал мне. Человек шумел, шумел и сказал: — Ведро яиц и полчайника сгущенки, но чтоб сегодня втиснули в состав! Человек этот сопровождал вагон с продуктами, был уже бит, стрелян и обираем в пути. Но и Павлик духом не поослаб, на легкий посул не откликнулся.

— Два ведра яиц, чайник сгущенки! Ставим сквозняком до Боготола, а там пособляй тебе бог...

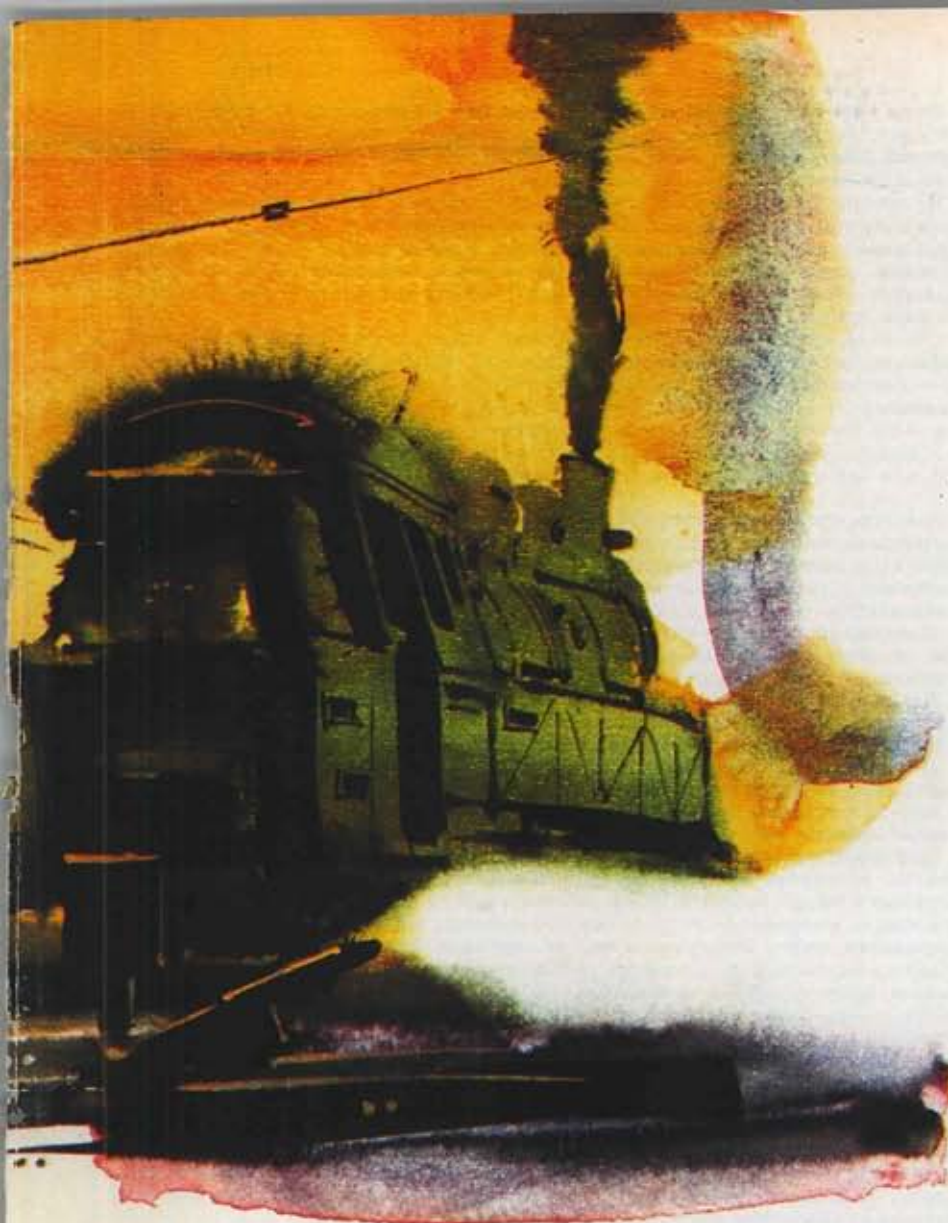
По сию пору, если яйцо хоть чуть-чуть залежалое, воротит меня от него — так мы тогда намолотились переболтанных, припахивающих яиц.

Любила наша славная бригада ездить в балластный карьер — там экскаватор подкопался под совхозные поля, и поначалу машинист выбирал из загруженных платформ проросшие картофелины, с конца июля — и молодой картофель; осенью начали попадаться в ковш экскаватора вместе с гравием турнепс, свекла, морковь. В топках экскаватора и нашей маневрушки на крюком изогнутых ломах все время клокотало какое-нибудь варево, в ведрном медном чайнике — кипяченая вода, запаренная то травой, то ветками малинника, одичало растущего по-за огородами и на пустырях.

Но однажды Павлик узрел в спутанных бухтах проволоки, нагретой за день, облепивших ее воробьев, открыл клапаны, продул котел, паром сшиб столько пташек, что нагребли их почти полное ведро, навздевали на железные прутья и стали обжигать в притушенном котле, и я поцапался с Павликом, а цапаться с машинистом — последнее дело: он в бригаде важнее составителя.

Скоро я это испытал на себе.

Мы вытянули порожняк с завода, и поскольку на станции была теснотища, я решил на заводской стрелке подобрать вагоны, чтобы на станции поставить их в поезд без возни. Порожняка было не так много — пара полувагонов, четырехосная платформа, штук семь крытых вагонов-«пульманов» — заводу много приходило сухого, ценного химиката. Перешучиваясь с заводской стрелочницей,



известной мне по нашему училищу, я быстро разбросал, затем собрал вместе порожняк и, повелев Кузьме оставаться в середине состава, который стоял на только что уложенных рельсах новой ветки, сам подался в хвост.

— Магистраль соединять не будешь?—спросил меня машинист.

— Не-э,—откликнулся я, шагая по гребню насыпанного гравия,—ветку продолжали тянуть дальше, и мы каждую смену подавали сюда из карьера по две-три вертушки сыпкого материала.

— Дело хозяйское,—буркнул Павлик, ревнул гудком «овечки» и, пробуксовывая, тронул порожняк.

Тормозную воздушную магистраль полагается соединять и приключать к паровозу, даже если ты тянешь пяток вагонов, а тут их вон сколько. Нарушение. Но в спешке, в сутолоке работы военной поры мы уже привыкли ко всякого рода нарушениям. Я стоял на куче балласта, поджидая платформу с тормозной площадкой. Постукивая о новенькие, свежерыжеющие рельсы, платформа кособоко приближалась ко мне, чуть опав на ослабевшие передние рессоры,—флажок у меня за голенищем сапога, грудь нараспашку, сейчас впрыгну на платформу, сяду, ножки свешу, сверну цигарку, покурю всласть, отдыхая и блаженствуя до самой станции...

Глаз уцепил скобу с отвинченной гайкой—схватись—и загремишь под колеса. «Ах, сучки-осмотрщицы! Куда только глядят?»—отмечая чужое нарушение, ругнулся я и приподнял ногу, чтоб вскочить на другую подножку, ползущую на уровне с горкой балласта. «Стоять на осыпях, на песке, балласте, куче извести, асбеста, тем более прыгать с них категорически запрещается!»—вспомню я минутой позже наставления по технике безопасности. Пока я стоял, опора хоть и ненадежная, а все же на две ноги была, но поднял одну ногу, и вторая сильнее давила гравий, он стронулся, потек, камешки зацепились о рельсы и шпалы—я вскрикнуть не успел, как забарахтался в потоке гравия, гребя его под себя руками, но меня сносило на рельсы, под платформу, колесо которой неумолимо надвигалось. Вдруг стиснулись, закрипели вагоны, из-под колеса платформы порхнул дымок, но колесо, хоть и с визгом, дымясь, искря, продолжало катиться. Я уже не барахтался, а, подобрав под себя ноги, парализованно наблюдал, как оно приближалось, давило в порошок камешки на рельсе, успел еще зацепить взглядом тормозные колодки: они болтались безработно—тормозная воздушная магистраль разъединена!

Прошло много, очень много времени. Вечность пронеслась надо мной! Платформа дрогнула, звякнула железным скелетом, с ее щелястого пола сыпанулась пыль, произошло какое-то непонятное напряжение—и колесо ладонях в двух от моих колен замерло, перестало крутиться.

Мне говорили потом, что я не сразу выскочил из-под платформы, решили—зарезало. Первый, кого я увидел, был Павлик. Он молча бежал от паровоза с чайником в руке. Подскочив, он сперва сунул мне рожок чайника в рот, но я не мог сделать ни единого глотка. Тогда ото всей-то душеньки Павлик отнесил мне пинка под зад и снова сунул горелый носок чайника в рот. Я поперхнулся водой, протолкнул в себя первый глоток и жадно, звучно, как конь, начал пить, затем отлил от чайника и загоготал, глядя на собравшихся путейцев, на Павлика, на Кузьму.

— Эй, ты! Чё хохочешь-то?

— Видать, того он...

Павлик подпрыгнул, заматерился, принялся хлестать меня со щеки на щеку:

— Сосунок! Сосунок! Жись-то одна! Жись-то одна!...

Не раз и не два отсечет потом рукавицы на моих руках при сцепке «на ухо»—это когда форкоп, винтовую сцепку, набрасываешь на специально для того сделанное на автосцепке приспособление, формой и в самом деле напоминающее свиное ухо. На той же самой заводской ветке, поскользнувшись, попаду я снова под вагоны и, выткнувшись в струнку меж рельсов, пропущу над собой несколько платформ, а покажется мне, что простучит надо мной бесконечно длинный поезд, однако сильнее того страха, того остолебения, которые пережил я под кособокой платформой, не испытывал вплоть до фронта.

Работая в ночную смену, я послал Кузьму на хвостовую платформу вертушки и велел глядеть в оба—ветка в карьере не ограждена, связана на живую, все время передвигают к экскаватору, и когда спускаешь вертушку в карьер,—испереживаешься.

Надвигалось утро, на экскаваторе погасили свет и спали. Мы его в потемках миновали. Чувствуя что-то недоброе, я помахал фонарем сбоку: «Тише, тише». Машинист дакнул тормоз, скикнула, напряглась воздушная магистраль, скрипнули, заискрили колодки, прижимаясь к бандажу колес. Я собрался попросить паровоз гуднуть экскаватору, чтобы нам тоже свистком откликнулись из темноты, но в это время впереди послышался удар, вертушка грохнула, сыпанулся и зацепился о рельсы не добранный при разгрузке балласт. Меня толкнуло так, что не схватись за поручни,—а ехал я в середине вертушки, на тормозной платформе,—то и свалился бы. Я прыгнул в темноту, угодил в горку балласта, упал на колени, разбил стекло фонаря. От паровоза бежали. Выхватив фонарь у помощника машиниста, я крикнул, чтоб завернули на платформах ручные тормоза, и помчался в хвост вертушки, с ужасом представляя, как увижу под колесами растерзанное тело сцепщика—уснул, сбросило, измяло, порезало на куски...

Без фуражки, с разбитым вдребезги фонарем, заплетаясь в длинном спецодежном плаще, Кузьма спешил на огонек моего фонаря, ударился в меня, остановился, что-то шлепая губами, и я, обрадованный тем, что он жив, не сразу разобрал: «Ой, чё будет? Ой, чё будет?»

— Десять лет штрафной,—пробубнил подошедший дежурный экскаваторщик.

Мы свалили две платформы с «подвижного» тупика: одна лежала на боку, другая сошла с рельсов и парой колес врезалась в гравий, а другой парой, как бы на последнем издыхании, удерживалась на пути. Мы все осмотрели и начали ругаться. Моя бригада материла бригаду экскаваторщика за то, что на машине не светилась сигнальная лампочка. Экскаваторщики крыли нас за незаделанный тупик, затем все вместе мы крыли Кузьму. Он все так же, без фуражки, косматый, мятый, дрожа дрожал и не защищался. Кто-то нашел фуражку, сунул ее козырем на лицо Кузьмы.

Паровозным домкратом, ломами мы подняли и вкатили на рельсы одну платформу, пододвинули экскаватор, опрокинули на колеса и вторую, подсоединили ее к вертушке. Экскаватор густо задымил, зарычал, забренчал—пытаясь спасти нас, экскаваторщики спешно бросали на платформы вертушки по ковшу-другому балласта—авось, не заметят. Но вот совсем рассвело, и мы поняли: аварию не «замазать»—у одной платформы лопнула рессора, погнуло тормозные рычаги, оборвались воздушные связи, да и вторая платформа изуродована, побита.

На планерке я доложил о случившемся и заявил, что всю вину беру на себя: был на хвосте, не досмотрел.

— А сцепщик где был?

— На средней платформе.

— А где ему быть полагается?

Кузьма сидел в углу все в том же плаще глиняного цвета, утянув голову в горбом взъерошенном брезенте, и, что было самое возмутительное, продолжал дремать, лишь иногда встряхивался, приподнимал голову, утирал мокро с губ. «У-у, запердыш несчастный! Наплодил ребятишек, я их спасай! Меня вот кто спасет? Обессиленный тяжелой, лихорадочной работой, ночным страхом, плел я чего-то совсем уж несусветное и скоро был изобличен целиком и полностью. «Да будь что будет, дальше фронта не сошлют, больше смерти не присудят... Ребятишки-то, ребятишки-то у хмыря этого—богатыря по детдомам мыкаться пойдут. Вот горе-то...»

Велено было писать объяснительную, я сказал, что не могу. «Как это не можешь?»—начал было начальник станции, но, видя, что я едва стою на ногах и ничего соображать не могу, отослал пспать, после чего честно и объективно все изложил. Я побрел из комнаты дежурного. Впереди меня, продолжая подремывать на ходу, тащился Кузьма. Полы его плаща волочились по порогу, мели окурки, и мне хотелось пнуть своего помощника что есть силы, да вот силы-то и не было.

Немало, видать, попытхел «порченный», много с кем переговаривал и поспорил, может, кого и умаслил, чтоб «в опшзм и целом» дело обошлось без трибунала. Меня лишили премиальных и дополнительного талона и еще поставили «на вид», Кузьму понизили в должности—было решение, но ниже некуда, разве что в «помазки»; к девушкам, так я и продолжал маяться с ним. Теперь уж чего хотели, то с нами и делали! Работали мы по двенадцать часов, через сутки, один выходной в неделю, война не война, вынь да положь—труд составителя требует много сил, сообразительности, ловкости, чуть притупилась осторожность, сдали силенки—и ты кандидат в покойники либо в вечные инвалиды.

Мои выходные «испеклись». Я все кого-то подменял, меня постоянно просили провозить вертушку на завод вместо кондуктора либо какой-нибудь прибалбланный сборный составишко до Красноярска. У всех дети, беды, горе, годы, болезни. У меня ничего этого нет, и виноват я, выслуживаться надо, вот и вертелся волчком и довертелся—таки до беды, которую не сразу и почувствовал...

Проводив вагоны на Злобинский комбинат, я приподнялся и смену принимал с ходу—как ездил теплым сентябрьским днем в сатиновом рубаше-косоворотке, по ветерку, с форсом, так в рубаше и в ночь работать вступил, надеясь вырваться с маневрушкой на первый путь, заскочить в свое жилище, пододеться. Смена выпала горячая, суетная, работы было много. Где-то о полночь пошел дождик. Беззвучный такой, мелконький, детский, он постепенно загустел, разошелся, набрал силу. Я залез в паровоз, повернулся к топке спиной, мелко-мелко и нехорошо как-то все во мне подрагивало, и я с ужасом начал вспоминать болезнь детских лет—лихорадку.

Налетел дежурный по станции, заорал, замахаивая руками. Павлик сунул ручку реверса вперед, вроде бы нечаянно сбросил горластого дежурного с подножки паровоза. Мы заматерились по станции, быстренько сделали срочную работу, после чего я наконец-то смог переодеться в сухое.

Днем заболела голова, морозило меня, трясло изнутри, и я ушел на блокпост к

посказителю Абросимову—прежде он работал на этой же станции оператором, но по старости «сошел с дороги», однако нужда заставила найти его и упросить помочь транспорту. Был Абросимов немножко уже не в себе, орудия рычагами на блоку, непрерывно «орудовал» он и языком. Лежа на его нехитрой постеленке возле отопительной батареи, я наблюдал, как лысый, в нимбе седых, архангеловых вихров метался Абросимов по просторному залу блокуста и, не стесняясь своей помощницы-женщины из эвакуированных, складно плел охальную нечисть.

К вечеру стало мне хуже, сделалось больно глотать, кружилась голова, и тот же балабол Абросимов проводил меня на здравпункт. Размещался здравпункт в одном помещении со столовой: одна половина—столовая, другая—здравпункт. Ведал лечебным заведением молодой белобрысый парень с такими челюстями, что лицо его напоминало чугунный утюг, заканчивающийся остреньким и так далеко вынесенным подбородком, что он оттеснил все предметы лица вверх, расширив почти до ушей скобу рта, вдавив в плоскую губу висюльку недоразвитого носа. Зав. медпунктом все время шурил косенькие глазки и важно сдвигал брови, отчего кисельно морщилась дряблая кожа лба.

— Температура?—с ходу задал он вопрос и сунул мне градусник.

Здравпункт организовали наспех, в связи с восстановлением эвакуационной промышленности, и чтоб мы не мотались в Красноярск, нас тоже приписали к этому заведению, к столовке и к магазину. И везде-то на нас фыркали, и выходило, что мы только перегружаем собой «точки», мешаем планово и усердно вести дела.

— Мм-мах! Мах! Мах!—пошлепал губами фельдшер и с серьезной значительностью сдвинул дужки бровей.—Температуры нет, молодой человек, стало быть...

«Стало быть, вы симулянт!»—прочел я на его лице и, пока пятился из медпункта, видел, как уничтожительно лыбится медицинское светило и поправляет, все время поправляет узелок атласного галстука, ярко сияющего в глубине бортиков халата,—первый это признак: хватается за галстук, стало быть, непривычен к нему, завязывать не умеет—выменял у эвакуированных.

Выскачив из медпункта, я храбро ругнулся и подумал, что, наверное, правду говорят путевские бабы, будто фельдшер этот снимает по три раза на день пробы в столовке, не пропустит и бабенку, тем паче девок без пробы на кухню работать, да и «помазков», которые обитают за моей стеной, не забывает, постоянно проверяет санитарное состояние их общежития, а от девок клопы тучей прут—навезли из сел клопа тощего, жадного, на деревенского мужика задом смахивающего. Девкам что? Их много. Которую и съедят—не горе, а я вот один остался, должен стеречь сундуки Миши Володькина и Пети Железкина—кинули парни имущество на меня, уверяя, что быстренько управятся с фюрером и вернутся...

Эх, ребята, ребята-шутники!

Ночную смену я едва дотянул и, когда пришел в вагончик, не раздеваясь, замертво упал на кровать. «Ты, машина, ты железна,—тянули за стеной «помазки»,—куда милова завезла-а, о-о-ох, о-о-хо-хо-хо, куда-а ми-ыло-о-о-ова завезла-а-а? Ты, маши-ы-ына, ты-ы, свисто-о-о-очек, подай, ми-ы-ылы-ый, голосочек, о-о-о-ох, ох-хо-хо-х...»

Под эту песню, жалостно думая о девках и о себе, я и уснул. Разбудила меня вокзальная уборщица, которая по совместительству обихаживала общежития. Лицо старой женщины было напугано.

— Ты чё, захворал?

— Кажется.—Я еще мог говорить, но слюна уже текла на постель.

Уборщица поставила к кровати таз и собралась бежать в медпункт. Я запротестовал: «Гниду видеть не хочу!»—и попросил купить молока.

От горячего молока, которое я проталкивал в горло, точно горячий шлак, сделалось полегче, и я задремал, а старушка бренчала посудой, отыскивала поваренку, которую, говорила она, надо лизать и глотать слюну, глядя на утреннюю зарю,—как рукой снимет «болесь». Поваренки в моем хозяйстве не было, уборщица постукала кулаком в стенку, спрашивая у девок, но и у тех поваренки не оказалось, может, и была, да они послали уборщицу и меня ко всем чертям, пропади, мол, он пропадом, раз такой гордый и никого из нас замечать не хочет.

Я и заметил бы, да стеснялся, а девки, будь одна или две, так и поощрили бы меня чем, выманили, но когда их много, они ж выдрючиваются друг перед дружкой, решают насмешками. Да и уставали девки на работе, две уж под поезд угодили—одну пополам, другой ногу отрезало.

Мне наконец-то «вырешили» выходной. Заходил Кузьма, спрашивал: «Может, чё надо?» «Ничего не надо». Кто-то натопил у меня печку—жарко, душно. На табуретке стояло горячее молоко в кружке, но я уже не мог его глотать.

Поздно вечером в мое жилище, как бы по своей воле, завернул фельдшер, глянул, пошлепал губами: «М-мах! Мах! Мах!»—взял мою руку, нащупал пульс, и я увидел, как отваливается тракторная челюсть, раздвигаются бровки и провисает меж ними кожа его лба. Хватаясь за галстук, фельдшер черкнул на бумажке закорючку, послал куда-то уборщицу, а мне сказал укоризненно:

— Что же вы, молодой человек, не являетесь на здравпункт?

Обложив бы его звонким желдорматом, но повернись язык—и в горле угли шевелятся, рассыпаясь горячими искрами по всей утробе.

— Ладно уж, не оправдывайтесь!

В вагончик забежал дежурный по станции, встревоженно глянул на меня, на фельдшера. Медик важно взял его под ручку, склонился доброжелательно головою—ведь выучилась, обезьяна, где-то и у кого-то «види».

— Немедленно!—услышал я из-за печки.—Немедленно, понимаете?!

— Где вы раньше-то были? Сейчас только на товарняке...

— Нельзя!.. Категорически!..

И до меня дошло: я опасно заболел. А так все пустяково началось: дождик, на спине рубашка намочка, покатался на маневрушке «с ветерком». В войну болеть нельзя—пропасть можно.

Я впал в забытие и очнулся от быстрого, заполошенного шепота:

— Одевайся! Одевайся! Одевайся, скорее!

Шатаясь, не попадая ногой в штанины, я надел железнодорожную форму, обулся в ботинки. Передо мной шаталась уборщица, плавало в тумане ее лицо с шевелящимся ртом. Стеснялся непривычной беспомощности и того, что не спит из-за меня избалованный человек, я пытался вымучить благодарствие, но старушка приказала молчать, забрякала кулаком в заборку.

— Девки! Явилось бы вас! Люди вы или не люди? Проводите парня в город! Мне на смену.

— Подменись!

Ругая девок, уборщица набросила мне на плечи телогрейку и, бережно обняв,

повела. На перроне с развернутым красным флажком стоял дежурный по станции. Я глянул на станционные часы—четверть пятого, из Владивостока шел скорый, нашу станцию он обычно пробирался напроход...

Мне захотелось протестовать и плакать.

Вдали яростно рывкнул «И. С.» и сжал ребра колодок. Весь поезд содрогнулся, громыхнул вагонами, задымил колесами и придержал бег. «Что у вас?»—знаком спрашивал помощник машиниста с грязным и недовольным лицом. Сворачивая флажок, дежурный по станции указал на меня, помощник растопырил пять пальцев—и меня тут же втокнули в медленно катящийся вагон с единственным во всем поезде открытым тамбуром.

Это был мягкий вагон. Все двери купе в нем плотно закрыты, ворсистая дорожка, расстеленная в коридоре, глушила шаги.

— Вот здесь садись,—участливо прошептала проводница и откинула мягкую скамейку от стены.—Чё, заболел?—Я кивнул, и она шепотом же продолжала:—На Заозерную по селектору сообщили...

«Наши,—расслабленно и жалостно подумал я.—Хорошие у нас люди работают, а я все от них в стороне, все с книжечками...»

Что три станции для скорого! Я и оглянуться не успел в мягком вагоне, как загрохотал он по мосту, пронесся мимо кирпичной больницы, уютно приткнувшейся под высокой насыпью и под огромными тополями на берегу Енисея. В эту больницу у меня и лежало направление в кармане черной железнодорожной гимнастерки, и идти-то до нее от вокзала пустяк бы...

Я вышел из вагона на сырой осенний перрон, и меня зашатало. «Э-э, парень! Ты чё это?»—подхватила меня под локоть проводница и подождала, пока я устоюсь.—Не вздумай по путям!

Да, по путям нельзя, хотя и близко. На путях стрелки задержат, они ловят всех кряду, а если не напорешься на стрелков—раннее утро все ж, дрыхнут, небось, что, как закружится голова? Быть под колесами...

И я двинулся в обход. Дурацкий тот обход не забыл мне вовеки. Черт-те что было нагромождено вокруг вокзала. Какие-то ларьки, забегаловки, мастерские, и все это соединено заплатыми, заборками, переборками—богата Сибирь древесиной! Изводи—не изведешь!

Закоулки, дыры, перепутья, повороты. Вроде бы вот он, тупик, идти дальше некуда, но вправо какая-то ленивая, полуслепая тропинка, западая в лебеду, исчезает в дебрях избушек, будок, железа, досок, обрез. Миновал лебеду, уперся в ржавую железнодорожную ветку, увенчанную пестрым шлагбаумом, дремлю свесившим хобот. Фонарик на нем не светился, по хоботу слой пыли. Жизнь утасла и остановилась. Но теперь уже по левую руку, в тополях видны ворота и сквозь прорезь листов просматриваются лоскутья давнего плаката: «Пере... летку...»—винный завод! От него мне вперед и дальше. Вилля по каким-то нетоптаным плешинкам, я обхожу грязные колдобины, вдавленные в землю рельсы, скоростный огород, забранный отходами, подлажу под старые вагоны—и, господи, спаси и помилуй!—впереди вроде бы засеребрился Енисей, выстуженный холодным утром.

Ан, радость преждевременна! Опять меня повело, повело, и вроде бы уж в обратную сторону, но через дыру меж хибарой, вросшей по брови в землю, и солидным, по случаю военного времени упочиленным заплотом выбросило на улицу, к железнодорожному предприятию, на котором белым по ржавому написано: «Вагонное депо».

Ну как тут не порадоваться и от радости не послабеть!

Глянул вперед—мосты видны и вершинку мелькомбината; обвел глазами вокруг—трубы вдали дымятся, гудки где-то поблизости раздаются, электро-сварка за забором трещит, отбрасывая сияние; на реке парход колесами хлопает.

Есть, есть жизнь на планете, движется она, и больница, чую я, где-то рядом. Вот и улица Ломоносова! Тут уж я не пропаду, больница-то фасадом к реке выходит, на улицу Дубровинского, задом на «Ломоносова». Или наоборот? Да черт с ней! Дойти бы. Найти бы. Скажу я: «Больница, больница! Повернись к городу задом, а ко мне передом!»—и готово дело! Только отдохну малость. Малую малость. Отдышусь, силенок накоплю и пойду. Ох, пойду!

Вот и скамейка, завалинка ль уютная такая. Привалился к чему-то холодному, поймался руками—круглое и твердое и вроде бы дребезжит. Отдышался, открыл глаза—змеи! За змею держусь, за железного—такой формы дождевая труба. Пасть зубастая, расхабаренная, в пасти язык белый—ледышка намерзла. Я осмотрелся и с тупым изумлением открыл: сию на завалинке старого-старого деревянного магазина и держусь за водосточную трубу, а память подсказывает фактик—это первое в моей жизни торговое заведение, посещенное мною еще во младенчестве.

Зачем? Почему я был в городе? С бабушкой был—это точно. И вроде бы в другом веке, на другой планете—тогда еще не олютели шпионы и люди ходили пешком, ездили на лошади под красноярские железнодорожные мосты. Возле узенького пролета по ту и по другую сторону лежали клубки колючей проволоки—это если шпион все-таки объяснится и полезет мосты взрывать, чтобы запутался. Не знаю, напоролся ли на колючку хоть один шпион, но деревенские дураковые конишки, застигнутые в подмошную дыре автомобиля, храпя вставали на дыбы, бросались на проволоку. Не одна крестьянская коняга запуталась в проволоках, изорвала себя, поуродовала. Когда ситуация обострилась еще пуще, лаз под мостом закрыли, и мужики сотворили далекий обезд мимо мелькомбината, к речке Гремячей.

Скорее всего, мы с бабушкой шли тогда к мосту, чтобы перенять возле него подводу и выпроситься подвезти нас. Смутно помнится, что до этого я был в белой комнате и меня больно тискали, заставляли широко отворять рот белые люди, мне вытаскивали рыбью кость из горла. Я подавился сорогой, самим же и наловленной на Усть-Мане. По случаю избавления от беды и во исцеление младенца на последнем городском рубеже дрогнуло сердце бабушки, и она завела меня в магазин, который совершенно меня ошеломил своим изобилием—в нем столько было конфет! Ничего больше не помню. Кажется, пахло селедкой, икрой, постным маслом, мясом, кажется, все витрины и прилавки ломились от хлебного, мясного, рыбного, овощного изобилия, но я смотрел на ящик с «раковыми шейками», который как бы в изнеможении высовывался из стены собачьим красным языком и клонился к полу. Там были еще и еще ящики с конфетами, доругочими, красивыми, зашпанными уголко или завернутые узелком, но меня отчего-то заворожили «раковыми шейками», я вроде бы даже ощущал на языке их рассыпчатую, чуть приторную, ореховую сладость. Но бабушка купила мне горстку подушечек и два прилика, велела завязать их в чистый носовой платок, который был выдан по случаю поездки в город с тем условием, чтоб в него не сморкаться...

С узелком в правой руке, держась левой за бабушкину руку, брел я, усталый, к мосту, такой маленький-маленький, с таким бедным-бедным гостинчиком, из

такого захудалого-захудалого магазинишки. Да что же это такое? Да почему же все так в моей жизни паскудно-то? Почему? И в магазин-то угодил в крайний, убогий. И обутчонки-то жали. И бабушка-то кланялась подводам, на меня показывала, взывая к состраданию. И конфетки-то самые дешевенькие! И пряники, кем-то уже облизанные!..

И надо ж было мне именно теперь, в такую крайнюю минуту оказаться у задрипанного того магазинишки, чтоб дрогнуть, разреваться, израсходовать последние силы.

Дальше я бред почти уже в темноте, на ощупь, шаря руками по штaketинам палисадников, по занозистым сколышам заплотов, по черствым и щелястым бревнам.

Мне все сделалось безразлично, захотелось прилечь на секунду, на одну только секунду на такую уютную, плоскую и прохладную землю. Воздух в груди спрессовался, я, будто пескарь на песке, ловил его открытым ртом, но только тянулась, катилась на гимнастерку уже и не липкая слона, вроде как сок из подрубленной осины, горький, едучий. И все же я осылился, еще раз поднялся, попробовал даже отряхнуть пыль со штанов и каким-то чудом выбрел к Енисею, сел у ближнего дома на скамейку: подождет, чтоб прояснилось перед глазами, глянул налево—улица пуста, глянул направо—тоже пуста.

Гонимый, скребясь вверх по реке колесный пароходиком, крикливый, надоедливый, всему городу по ору известный. «Колхозник»—название ему было. Все остальное в городе, на реке, в мире свалено сном. Дома закрыты ставнями, лишь пристань-слышно маленько. К острову ткнулись носами баржи. Букашкой прилип к одной из них серенький катер. Машины не ходят, лодки не плавают; даже заводы на другой стороне реки дымились вяло, изморно, и только ТЭЦ, расположенная неподалеку, гнала на город чернущие валы дыма из шеренгой выстроенных труб, и мне казалось, что дымом этим запечатало во мне грудь и я никак не могу продышаться. Поймав глазами мерцающие переплетения железнодорожных мостов, рядом с которыми уютно стояла больница, я обреченно подумал: «Мне не дойти...»

Сколько-то еще сопротивляясь беспамятности и бессилию, я шел, однако ноги в коленях помыгали, руки обвисли, голова сделалась тяжелой, спина вроде как слиплась с гимнастеркой, смаялась, и я сел посреди улицы, затем лег, свернулся на камнях, подложив руки под лицо. «Полежу, отдохну...»

В какое время, не знаю, должно быть, вскоре после того, как я свалился на булыжник, послышался стук колес, переходящий в такой грохот, будто это подкатил Илья-пророк. «Телега! По улице катит телега. Кабы на меня не наехала...» Подумать-то об этом я подумал, но никакого усилия не сделал, чтоб подняться. Грохот приблизился и оборвался—телега свернула на песочный съезд к Енисею, ехал водовоз с бочкой, оттого так и грохотало.

Однако меня кто-то шевельнул, опрокинул на спину.

— Гляди-ко, парнишонка!—и с удивлением:—Справный парнишонка, не вакуированный, железнодорожник! Э-эй, железнодорожник!—постучали меня чем-то по голове, я потерял фуражку и телогрейку потерял, как потом выяснилось.—Ты чё, пьяный али захворал?..

В горле моем что-то сдвинулось, засипело, и сознание мое от боли окончательно померкло.

В седьмом часу или еще в шестом—не могла после вспомнить дежурная на проходной—в ворота больницы сильно постучали, и она, ругаясь, пошла открывать. Отворила—перед нею явление: золотарь с вонючей бочкой вожжи держит, на его месте, прислоненный к торцу бочки, железнодорожник, не то пьяный, не то помер...

Вахтерша старая попалась, смекалистая, много на своем веку повидавшая, цап-царап за карманчик моей гимнастерки—там направление, и не куда-нибудь, а во вторую больницу! «Гляди, как ловко получилось!»—удивился золотарь.—Ну, везуч парнишонка, везуч!.. И укатил дальше, грохоча на всю округу бочкой.

Молодого железнодорожника заволокли в санпропускник—раздевать и мыть, все как полагается. Что, что без сознания? Живой пока, теплый, стало быть, махай его в воду, полощи!..

Тут и явился в больницу профессор, дай бог памяти—Артемьев, по-моему. Он вел железнодорожную больницу, преподавал в институте, возглавлял все комиссии, и загляни он на шум в санпропускник, где волочили по деревянным решеткам довольно крупного парня две малосильные теткли, пытаясь разболочать его, чтоб соблазнить приемную санитарку. Профессор даже не спросил, чего они делают и зачем. Он прыгнул в санпропускник, оттолкнул теток и, сильно схватив за нижнюю челюсть парня, отворил ее, глянул и тревожно, так тревожно, что теткли вконец перепугались, крикнул, протягивая руку:

— Что-нибудь! Ложку! Лопатку! Палочку! Что-нибудь!..

Тетки ринулись, ударились друг о дружку, упали, и тогда профессор резко сунул в горло молодому железнодорожнику два сильных пальца...

Дальше я снова могу рассказывать сам.

После ослепляющей вспышки в голове боль пронзила насквозь не только сердце, но и все тело, и тут же, следом за нею и вместе с нею в мое нутро хлынул воздух, быстро наполнив меня, а наполнив, как праздничный легкий шар, понес куда-то, в живое пространство. Я летел, кружился, чувствуя, как встрепенулось, зачастило сердце от пьянящей, так нужной ему и мне воли, словно его и меня вытолкнули из тесного сундука, словно подбросили хворосту в дотлевающее пламя.

Что-то порченное, вонючее хлестало из моего рта, слезы лились, и когда я открыл глаза, какое-то еще время все плавало, дробилось передо мною, но до лица дотронулись спиртом пахнущей ваткой, протерли его, промокнули глаза, и сквозь мокро на ресницах я увидел приближенное ко мне, сверкающее очками, этакое типичное лицо старомодного доктора. Он держал меня за плечо и что-то говорил, радуясь моему светлому воскресению—я это распознал по его взгляду, и слезы пуще прежнего закипели во мне и полились из глаз, теперь уж не от боли, теперь уж просто так.

— Дыши-ы! Дыши-ы! Дыши-ы!—напел доктор.

Я признательно уткнулся носом в мякоть халата, пахнущего талой енисейской водой.

— Все хорошо, юноша! Все хорошо!—Доктор приподнял пальцем мой подбородок, и почувствовал: под очками у него заблестело.—Не плачь, а то и мы заревем. Хорошо дышать?

Я хотел сказать: дышать не просто хорошо, дышать—это не знаю какое счастье,—но только шевельнул языком—такая боль ожгла горло и такая снова хлынула дурь, что уж не до разговоров мне сделалось.

Те самые санитарки, что хотели меня мыть и вместе со мною, как потом сами признались, наревевшиеся досыта, повели меня в перевязочную, где усажен я был в удобное, тугой кожей обтянутое кресло. Медицинская сестра смазала мое горло намотанной на палочку ватой, густо облепленной вонючей дрянью. Боль

все не проходила, но я дышал. Никогда еще я не дышал так—так жадно, никогда так не наслаждался самой возможностью дышать.

В перевязочной прибавлялось и прибавлялось народу. Появился доктор. Вытирая полотенцем руки, велел мне открыть рот, мимоходом глянул в него и удовлетворенно качнул головой.

И тут я вспомнил, что давно, очень давно, наяву, во сне ли, уже был в такой же перевязочной и видел такого же доктора, и он тоже помогал мне освободиться от боли, и фамилию его вспомнил—Артемьев, теперь уж не доктор, а профессор!

Знали профессора не только и не столько как профессора—город сражен был совершенно безумной приверженностью его к футболу. Сейчас этим никого не удивишь. Ныне ради футбола и хоккея люди на преступления идут, есть такие, что жизнь самоубийством кончают. Но до войны болельщик, подобный профессору Артемьеву, был редкостью, и случилось, ох, случилось, предавал он общественные интересы—сбегал из больницы, с лекций из института, с заседаний ученых советов, с экзаменов, один раз будто бы даже из операционной улизнул—человеческая молва, что лесная дорога, кривящая куда попало, благо лес большой...

До войны на красноярском стадионе «Локомотив» свирепствовали все больше братья, то Бочковы, то Зыковы, то Чертеняки, и в великие уж люди они выходят, бывало, мячи на голове через все поле проносятся, штанги ломают, московским командам делать в Сибири нечего, всмятку их расшибут, да забалуют любимцев болельщики, запоят, заславят и, погубив, тут же забудут.

На стадионе «Локомотив» профессора Артемьева не раз ловили коллеги и... на улочку. Он ловить научился, смотреть футбол из-под трибуны, где валяются окурки, бумаги, нечистоты, где в пыли и грязи прячется безбилетный зритель парнишечьего возраста. Подтрибунные болельщики уважали профессора, считали его своим парнем, спорили с ним, ругались и вместе свистели. Но болельщики дедали новое средство бороться с неистовым болельщиком—вызывали его по радио. Только он устроится под трибуной, попросит «отодвинуть ножку», как из динамика раздастся: «Профессор Артемьев на выход!» Он палец к губам: «Меня нет!» Но по радио повторяют и повторяют фамилию—где же выдержитесь! Выход с «Локомотива» хоть налево, хоть направо—половина стадиона, трибуна-то на обратной, «глухой» стороне, по-над Качей. Выудят испачканного, сердито сверкающего стеклами очков профессора, он ругается: «Какой говнюк здесь радио повесил? Э... О... Прошу прощения у женщин. Это ж спортивные сооружения... Не вокзал! И хочу спросить кой у кого: имею я право, как советский гражданин, как патриот сибирского спорта?..»

Говорят, из исключительного уважения к профессору парнишки сделали подкоп под забором стадиона, и он выползал по подземелью к Каче. Юрнет в переулок, стриганет в больницу, а его кличут, а его кличут!.. Говорят, жена от него ушла, дети разбежались, одна домработница осталась, «жалючи блаженного», и шибко бранила хозяйина: «У ты голова седа, руки золоты, умственность выдающая, а ты со шпаной на футболе свистишь, передову советску медицину позоришь!..»

Я смотрел на профессора во все глаза и ничего такого особенного обнаружить в его облике не мог. Он отдавал какие-то распоряжения почтительно его слушавшим людям, взгляд ученого был устремлен куда-то дальше, и мысли его, казалось мне, заняты совсем не тем, чем он сейчас занимался. За всем его видом и за тоном человека, привыкшего повелевать, различался избяной человек, слабо защищенный, простодушный, однако простодушие-то было крестьянского происхождения—«себе на уме».

— Ну как, герой, ожил?

Я покивал головой и попробовал улыбнуться профессору. Он приказал, чтоб я помалкивал—говорить придется ему, мне остается только кивать головой, но если и это движение вызовет боль—прижмуривать глаза.

— Уважаемые коллеги и студенты!—громко начал профессор.—Сегодня не в институте, сегодня здесь, в больнице, расскажу и покажу я вам, как можно ни за понох табаку стубить человека...—Чувствуя мою стесненность от многолюдного внимания, ободряюще тронул меня за плечо.—Юноша, ты заболел почти неделю назад?—Я кивнул головой.—У тебя кружилась голова, появилась слабость, но не было температуры, и тебя на медпункте сочли симулянт?—Я снова кивнул головой.—Между тем у юноши развивалась фолликулярная ангина, этаких два пустяковых нарывчика в горле снизу и один, совсем уж пустячный—сверху. Он-то, пользуясь плотничским термином, и расклинивал два нижних нарыва, и оставалось юноше жить... мало оставалось ему жить. Откровенно говоря, крепкая порода да говновоз... Э... о... прошу прощения у дам, спасли его. Между тем человек лишь начал жить, из него, быть может, Менделеев... Не смейтесь, не смейтесь! Или сам Бутусов... Да пусть просто человек, гражданин, рабочий, защитник Родины! А его—на свалку...

Не знаю, как отнеслись к той нечаянной лекции профессора Артемьева коллеги и студенты, но я-то много, ох, как много запомнил из нее навсегда.

— Военное время,—втолковывал профессор,—страшно прежде всего тем, что человеческая жизнь как бы убавляется в цене, а кое для кого и вовсе ее теряет. Фельдшерика с базисного здравпункта,—продолжал профессор,—кто он есть? Но он познал отравную силу своей, пусть и маленькой, власти и по заскорузлости ума не сознает, сколь страшна эта сила...—Профессор Артемьев остановился против меня:—Фельдшерика, недоноска на вид?—Я кивнул.—Шибдик?.. Э... о... Прошу прощения у дам! Ничтожество неосознанно, не всегда осознанно мстит всем, кто здоровее его, умней, честней, счастливей, стараясь низвести людей до своего образа и подобия! История начиналась не с государств и народов. История начиналась с одного человека, но с первого! И одним, если ей суждено, она закончится. Он должен будет сам себя вычеркнуть из списка и вместе с собою зачеркнуть все, что было до него. Чудовищно! Немыслимо! А между тем есть люди, способные на это. Война обнажает зло, но за войной следует успокоение, мир, и оно утрачивает силу. Недоноски торопятся! Под шум и грохот войны легко сосать кровь, ломать кости. Гуманист—всегда богатырь, всегда красив и силен духом, а эти горбатые ричарды, наполеоны с бабьими харями, хромые талеяраны и геббельсы, припадочные гитлеры, золотушные, картавые, сифилисные, прокаженные—природа сама шельму метит: остерегайтесь, люди, зла, вами же сотворенного! Э... О... Прошу прощения! Я, кажется, зарпортовался! Алексей Алексеевич,—обратился профессор к пожилому врачу,—позаботьтесь, чтоб фельдшеру с поля вон! Фол! Подножка! Игра в кости! Санитаром его, сукиного сына! В госпиталь! Потаскай раненых, пострадай! Тогда только допущен будешь к страдающим людям...—Профессор захлопнул крышку часов, заторопился из перевязочной, уже на ходу бросив через плечо:—Покормите парня. Чем-нибудь жиденьким и теплым.

Окончание следует.

"ХРАНИТЬ ВЕЧНО"

Только отворив дверь специальной комнаты-сейфа, раздвинув решетчатые створки, можно подойти к полке, где лежит эта книга — старинная, тяжелая, в кожаном переплете с золотым тиснением, с окантованными металлом углами... Существует она в одном-единственном экземпляре, потому и хранится «за семью замками», как самые дорогие сокровища, хотя в списках реликвий нигде не числится. И называется весьма прозаично — книга учета. Вообще-то таких книг в комнатно-сейфе целая библиотека, но эта — первая. Самая первая. Она «написана» тогда, когда музей не принял еще ни одного посетителя.

Вместе с сотрудником музея осторожно переносим книгу на стол — она закрывает его почти полностью. С нетерпением открываю первую страницу — признаться, было очень любопытно узнать, какой же экспонат раньше всех «прописан» в этом доме на Красной площади.

Некоторое разочарование: «самого первого» нет. Витиеватым почерком неизвестного писателя прошлого века выве-

дено: «9 витых браслетов или запястьев больших размеров». Эти бронзовые браслеты, найденные в могильнике у аула Кобань на Кавказе и переданные в дар музею графом Уваровым, разместились в книге учета под номерами 1—9. (Нынешние поступления в Исторический музей получают семизначный порядковый номер!)

Против этой записи, как и всех последующих, — аккуратные оттиски штампов, последний — с цифрой «1977». Это значит, что в прошлом году специальная комиссия проверила наличие и состояние экспонатов, или, как говорят в музее, «единиц хранения», нашла их в целости и сохранности, что и засвидетельствовало в книге учета.

Собственно говоря, иначе и не могло быть. Все предметы, поступившие и поступающие в музей, находятся под неусыпным контролем специалистов, создающих им надлежащие условия хранения, срок которого можно определить лишь таким словом — «вечное».

История — это книга, которую пишут поколения за поколениями, это книга, у которой никогда не будет конца. Но разве ее бесконечность сможет оправдать отсутствие хотя бы одной странички, пусть даже в самой первой главе?

КОНСТАНТИН ЛЕВЫКИН: «НАШ МУЗЕЙ — ЕДИНСТВЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ НАРОДОВ СССР С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ».

Именно поэтому в музее так бережно относятся к каждому экспонату.

Сегодня в Историческом музее «на вечном хранении» находятся около 4 миллионов предметов и 44 тысячи архивных дел. Это одна из богатейших музейных коллекций в нашей стране и во всем мире. Но уникальность Исторического не только в этом.

Перед встречей с директором музея я вошел в это здание не через служебный вход, а со стороны Красной площади и примкнул к одной из экскурсионных групп. Перед тем как войти в первый зал, сотрудник музея, немолодая уже женщина, тихо сказала: «Вы в Историческом музее. Самом большом и самом маленьком, самом старом и самом молодом... Как хотите... Он единственный в своем роде».

С этого и начался наш разговор с Константином Григорьевичем Левыкиным.

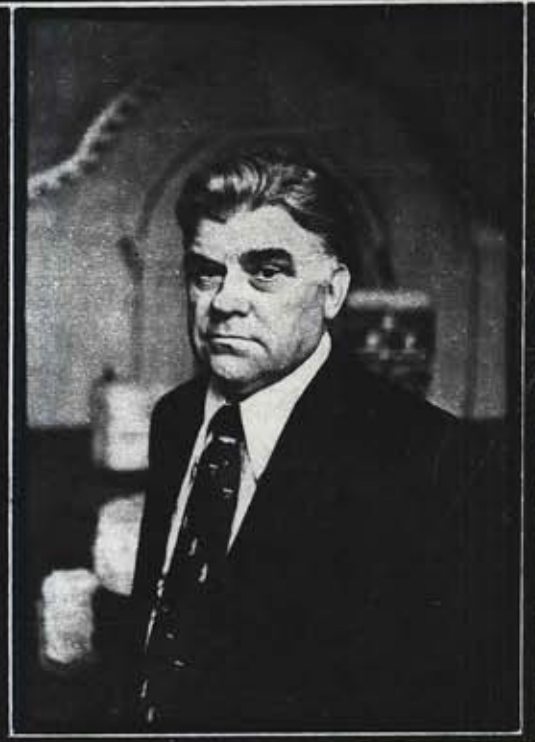


Фото Сергея ПЕТРУХИНА.



**ЕЖЕДНЕВНО МУЗЕЙ ПОСЕЩАЮТ
ПОЧТИ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.**

век) и новейшие исторические монографии; одна из крупнейших в мире нумизматическая коллекция с орденами и медалями буквально всех исторических периодов; интереснейшие образцы древнерусской живописи и картины современных художников; уникальные материалы, свидетельствующие о боевой славе народа в битвах, полыхавших на нашей земле; ценнейшие коллекции изделий из металла, дерева, фарфора; важнейшие исторические документы...

— Константин Григорьевич, неповторимое собрание исторических памятников музея складывалось на протяжении многих лет. Более чем столетнее существование Исторического музея уже само по себе представляет большой интерес. Давайте напомним нашим читателям некоторые факты его биографии.

— Год рождения Исторического — 1872-й. Тогда в Москве открылась Политехническая выставка, специальный раздел которой рассказывал о героической обороне Севастополя во время Крымской войны. Устроители выставки обратились к властям с запиской, в которой говорилось: «Собрание обильных и драгоценных для исторической жизни России материалов, значение их для массы народной, как памятников, говорящих о доблестных деяниях и славных подвигах защитников Отече-

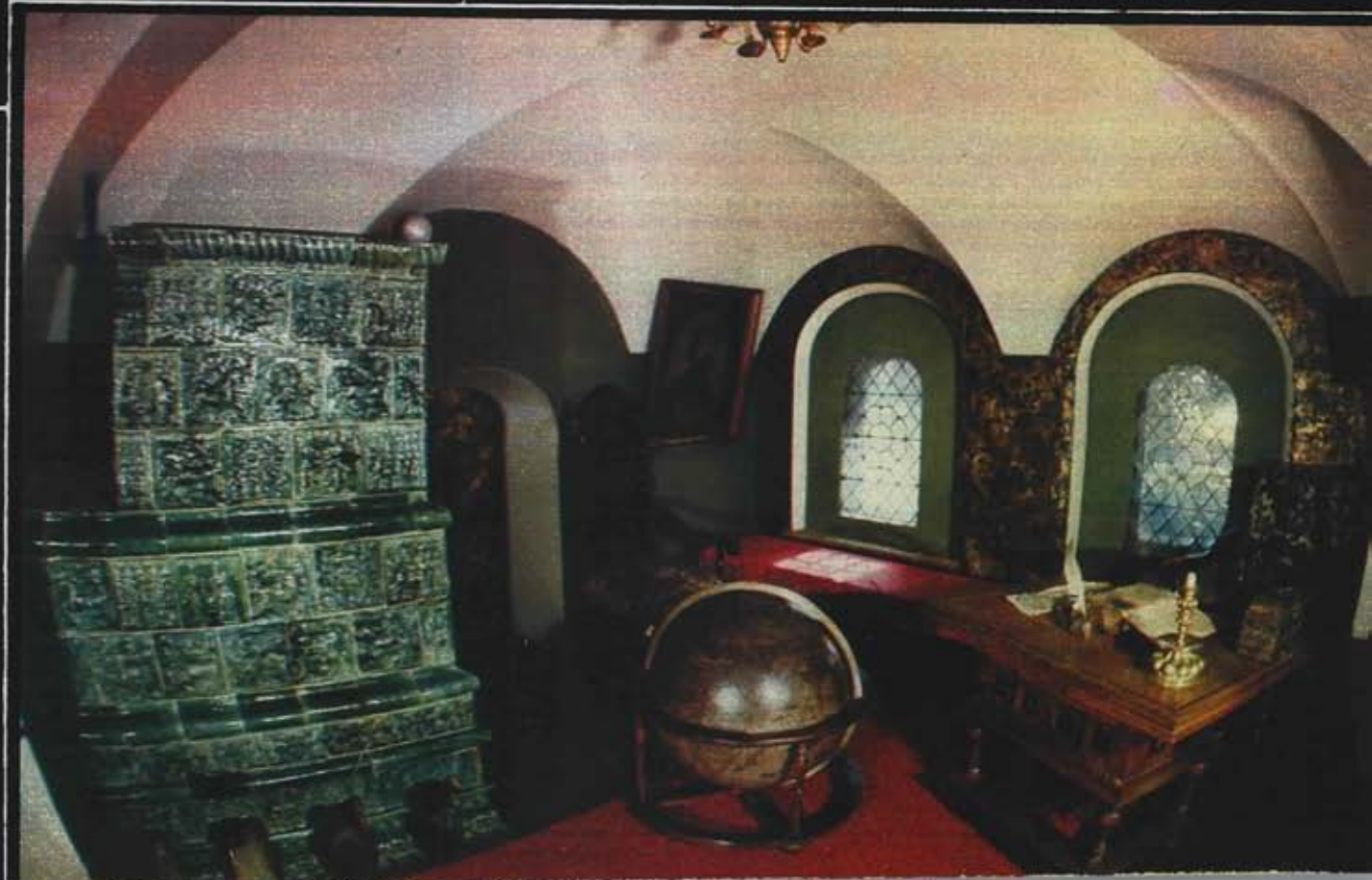
ЭТА КНИГА НАПИСАНА ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ.



— Есть музеи, которые собирают, например, только произведения искусства, только оружие, только рукописи... Нас же интересует и первое, и второе, и третье, и еще многое другое — словом, все, что так или иначе характеризует Время. Конечно, и кроме Исторического, существуют музеи с подобным диапазоном интересов — это историко-революционные, мемориальные, краеведческие музеи страны. Но подбор экспонатов в каждом из них так или иначе ограничен — либо определенным историческим отрезком, либо отношением к какому-либо географическому региону.

Государственный Исторический музей — единственное хранилище памятников истории народов СССР с древнейших времен до наших дней. В наших фондах — античные коллекции Причерноморья и предметы, побывавшие в космосе; древнерусские берестяные грамоты XI—XV веков и дневники строителей БАМа; собрание русских рукописных книг, в числе которых уникальные памятники — Изборник Святослава (XI век) и Мстиславово Евангелие (XII

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ КАБИНЕТ РУССКОГО БОЯРИНА (XVII ВЕК).





ства, дали Севастопольскому отделу особое значение и сами собою указали учредителям, что богатства, собранные их трудами и общим сочувствием, не могут быть предметами временной только выставки, а должны сохраняться навсегда и послужить основанием прочному учреждению...

Под давлением общественности царское правительство разрешило открыть музей. Однако, несмотря на то, что по этому поводу было сказано немало «высочайших» слов, власти на деле мало заботились о дальнейшей судьбе музея. Вы уже видели книгу, где зарегистрированы первые поступления экспонатов, — приписка «дар графа Уварова» показательна для того периода. Собрания старинных предметов, документов, монет, изобразительных материалов — все это составлялось главным образом за счет пожертвований, сделанных частными лицами и научными учреждениями, в первую очередь Московским университетом и Московским археологическим обществом. Собственных средств у музея практически не было. Даже в «Положении об Императорском Российском Историческом Музее», принятом в 1888 году, было признано: «Систематическое изготовление моделей, слепков, рисунков и т. п., требующее весьма значительных расходов, остается в желаниях и предположениях на будущее время».

Это «будущее время» пришло только после Великого Октября. Достаточно сказать, что за годы Советской власти фонды музея увеличились с 300 тысяч экспонатов, насчитывавшихся к октябрю 1917 года, более чем в 13 раз. Можно привести еще и такие данные: в дореволюционный период музей ежегодно посещали 20—40 тысяч человек, сейчас эта цифра превышает 2 миллиона.

— А в годы Великой Отечественной войны музей работал?

— Когда начались бомбардировки Москвы, самые ценные исторические реликвии были упакованы и в сопровождении десяти сотрудников музея во главе с ученым-археологом А. Я. Брюсовым отправлены в Кустанай. Необычный груз состоял из 530 ящиков.

Однако и в столице музей продолжал работать. Лишь восемь осенних дней в суровом 41-м двери Исторического были закрыты для посетителей: устранялись повреждения, нанесенные взрывом фугасной бомбы. Но 7 ноября, сразу же после парада на Красной площади, музей открылся.

Должен сказать, что в годы войны интерес к отечественной истории был особенным. Только в 1942 году сотрудниками музея было прочитано 1785 лекций. Знакомство с героическими страницами прошлого нашей страны поднимало патристический дух защитников Отчизны. Не случайно многие боевые ордена были названы именами выда-

МНОГИЕ КАРТИНЫ ПОЛУЧАЮТ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ В РЕСТАВРАЦИОННОЙ МАСТЕРСКОЙ МУЗЕЯ.

В ХРАНИЛИЩЕ ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ющихся полководцев и флотоводцев нашей Родины — Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимова.

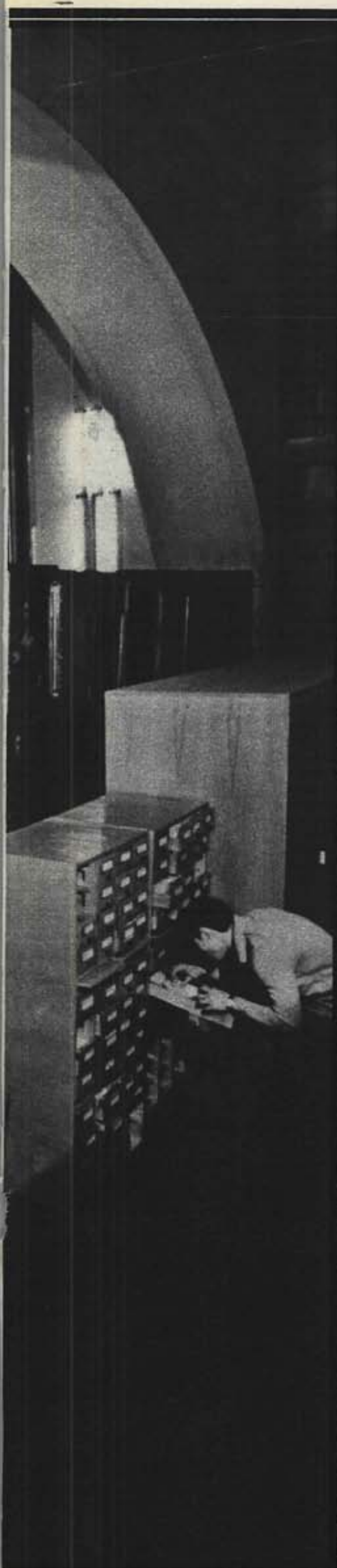
— На фасаде Исторического музея висит мемориальная доска, напоминающая, что на этом месте в 1755 году открылся первый в России университет, основанный М. В. Ломоносовым. Было ли связано это событие с выбором места для строительства здания музея?

— Согласен, совпадение символическое. Но тем не менее лишь совпадение. Ведь ломоносовский университет не имел специального здания, его аудитории находились в помещении Земского приказа. Ну, а для этого учреждения место выбиралось самое видное, самое лучшее. И сто с лишним лет спустя не случайно здесь планировалось построить новое здание Городской думы. Впрочем, история — наука точная, и лучше я приведу еще один документ того времени. В нем речь идет о выборе места для Исторического музея и, в частности, говорится: «...нужно, чтобы это место было само замечательно в историческом отношении и центрально по своему положению; оно должно быть открыто со всех сторон и чтобы свет мог свободно и обильно проникать в залы, для освещения выставленных предметов. Несомненно, что Красная площадь как нельзя лучше удовлетворяет первому условию, именно, чтобы место под музей было центральное и замечательное в историческом отношении. Но другим условиям, по нашему мнению, более удовлетворяет то место на Красной площади, которое занято теперь старым зданием Присутственных Мест, чем то, которое предложено отвести вдоль Кремлевской стены, между Никольскою и Спасскою башнями. Будучи построен там, где теперь находится старое здание Присутственных Мест, музей выходил бы двумя фасадами на площадь, а другими двумя — на широкие подъезды. Участок этот предназначается под постройку Городской думы, и по этому самому, может быть, он и не имелся в виду при составлении проекта постройки Исторического музея. Но если поставить вопрос, чему лучше быть на этом месте — Городской ли думе или Историческому музею, то едва ли можно усомниться дать предпочтение последнему».

«Предпочтение последнему» было дано, и в 1874 году здание музея заложили на том месте, где мы сейчас беседуем.

— Здание музея строилось во второй половине девятнадцатого века, между тем его внешний облик напоминает ар-





хитектурные сооружения гораздо более раннего времени...

— Таков был замысел авторов специального проекта—художника-академика В. О. Шервуда и инженера А. А. Семенова. Здание, предназначавшееся для Исторического музея, построено в стиле XVI—XVII веков с использованием архитектурных элементов и украшений, употреблявшихся древними русскими зодчими. Больше того, ряд деталей оформления непосредственно позаимствован с известных архитектурных памятников. Так, например, образцами для висячих гирек под перемычками окон и дверей послужили гирьки собора Василия Блаженного и церкви села Останкина. Стены входного вестибюля, называемого авторами проекта сенями, расписаны были травами по светло-желтому фону так, как это сделано в Софийском соборе в Новгороде.

Подобное решение имело своей целью придать большую историческую значимость сооружаемому зданию, сделать его само памятником нашим талантливым предкам, искусство которых восхищает и до сих пор.

Наверное, нет человека, который сегодня, побывав хотя бы один день в Москве, не увидел этого большого с островерхими башнями красного здания на главной площади столицы. Потянув за металлическое кольцо, зажатое в лъвиной пасти, почти шесть тысяч человек ежедневно открывают его двери—массивные, немало повидавшие на своем веку, и, миновав кассово-суматошный вестибюль с книжным киоском и собирающимися группами экскурсантов, попадают в Храм Истории.

Вся обстановка здесь, как выполненная умным художником театральная декорация, настраивает на восприятие еще не начавшегося, но уже ожидаемого действия—благоговейная тишина, какая бывает только в музеях, делает это ожидание торжественно-праздничным, подобным ожиданию, которое возникает в театре со звуком скрипок, настраиваемых при еще закрытом занавесе. Но вот раздвинут занавес...

Немые свидетели истории... Так обычно говорят о предметах, дошедших до нас из далеких дней. Но постойте возле любого из них, взгляните, подумайте—и вы услышите многое.

С вами заговорят найденные под Рязанью глиняные сосуды, возраст которых измеряется тысячелетиями. И коль-

чуга русского воина, павшего на Куликовом поле. И личные вещи Ломоносова. И акварельные портреты декабристов, сделанные Бестужевым во время сибирской ссылки.

Письмо Желябова к прокурору, в котором известный народоволец просит приобщить его к делу «первомартовцев», его товарищей, убивших царя, заставит еще раз задуматься о верности, о долге, о мужестве.

Портрет Емельяна Пугачева, написанный прямо по портрету Екатерины II. Знай наших! «Вольнодумство» неизвестного художника разгадали реставраторы и не стали его более скрывать от зрителей. Так и висит сейчас портрет великого бунтаря, сквозь папаху которого проглядывают глаза императрицы. И в этом же зале—клетка, в которой провел Пугачев последние дни перед казнью. Разве молчит этот «немой свидетель»?

Часть мачты легендарного броненосца «Потемкин»... Изображенная морщинами времени, она повествует о гордых днях первой русской революции, ставших зенитом славы боевого корабля.

И самый главный документ нашей эпохи—столько раз виденное в репродукциях, столько раз читанное в книгах и все же потрясающее здесь своей документальностью воззвание «К гражданам России». Слово переносится в тот пламенный день 25 октября 1917 года, когда всматриваешься в скромный пожелтевший листок, в написанные еще по правилам старой русской орфографии ленинские строки: «Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства—это дело обеспечено».

...Множество предметов—будь то искусной резьбы ювелирное украшение либо исписанный листок обычной бумаги,—имеют здесь не только художественную и материальную ценность, многие экспонаты музея обладают бесценной ценностью реликвий.

— Бесценные ценности... В общем-то это алогизм, но мы часто употребляем эти слова и, пожалуй, понимаем заключенный в них смысл. И все же, Константин Григорьевич, применительно к экспонатам Исторического музея нельзя ли конкретизировать это понятие?

— Давайте попытаемся найти ответ

на этот вопрос на открытой у нас в музее выставке «Сокровища истории и культуры». Само ее название говорит, что здесь представлены как раз те самые «бесценные ценности». На этой выставке ровно тысяча экспонатов. Однако я не возмущаюсь на себя смелость сказать, что нам удалось отобрать тысячу самых «ценных» памятников из всех коллекций музея. Хотя задача ставилась именно такая. Но думаю, что решить ее не сможет никто.

Разумеется, каждая вещь поддается оценке. С точки зрения затраченного на ее изготовление материала, стоимости работы... Но исчерпывается ли этим оценка памятника истории?

Вот пример. На выставке сокровищ внимание посетителей неизменно привлекает сверкающий тысячами граней «бриллиантовый» эфес шпаги. Изумление читаешь на лицах людей, когда экскурсовод говорит, что материал, из которого сделан эфес,—обыкновенная сталь. Но такова была мастерство тульских умельцев XVIII века, что стальные шарики, на каждом из которых было насечено от 6 до 19 граней, до сих пор поражают воображение, заставляя поверить в необычность, в драгоценность материала, попавшего в руки тулякам. Шпага эта, изготовленная в свое время по заказу Екатерины II, широко известна среди специалистов, исчисляющих ее стоимость 30 тысячами долларов.

Определяет ли эта сумма истинную ценность «бриллиантового» эфеса? С точки зрения искусства, работы по огранке самих шариков,—видимо, да. Но давайте посмотрим на этот предмет глазами историков. Шпага эта, как я уже сказал, была сделана по заказу императрицы и предназначалась одному из ее фаворитов за какие-то заслуги. Кому и за что, мы пока не знаем. Я говорю «пока», потому что историк никогда не имеет права отказываться от надежды узнать нечто новое. Может быть, эта шпага была пожалована за ратные подвиги во славу русского оружия, а возможно, человек, получивший ее, заслужил эту милость, участвуя в подавлении народных волнений. Необычна и дальнейшая судьба тульской шпаги: долгое время она пролежала в земле. Когда ее нашли—от былой красоты не осталось и следа. За реставрацию уникального эфеса взялся наш современник, мастер из Останкина Буторов. Несколько лет продолжалась работа. Мастер сумел разгадать секрет замка шпаги, восста-





ВЕНЕЦИАНСКАЯ ВАЗА XVI ВЕКА—НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, НО И СВИДЕТЕЛЬСТВО КОНТАКТОВ РОССИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ.

В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ НА ВЕЧНОМ ХРАНЕНИИ НАХОДЯТСЯ ОКОЛО 4 МИЛЛИОНОВ ПРЕДМЕТОВ, НО КАЖДЫЙ ИЗ НИХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ ЗА СТЕКЛО ВИТРИНЫ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ПОХОДНЫЙ СТОЛОВЫЙ ПРИБОР КУТУЗОВА.



АФРОДИТА ТАМАНСКАЯ (II ВЕК ДО Н. Э.)—ОДНА ИЗ ТЫСЯЧ БЕСЧИСЛЕННЫХ РЕЛИКВИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ «СОКРОВИЩА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ».



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕЧАТИ ПЕТРА I.

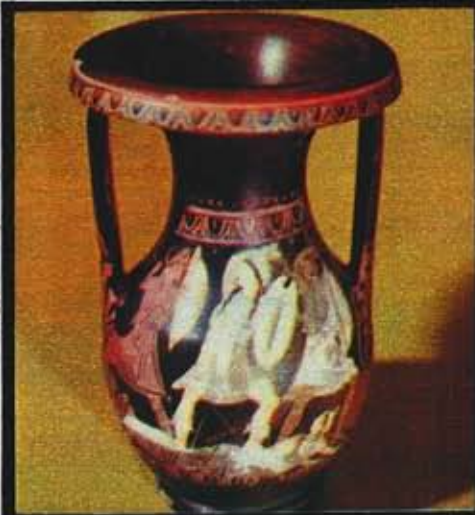
новить каждый из многочисленных шариков, придающих столь необычный вид эфесу. Вывод Буторова: в изготовлении шпаги принимали участие более двадцати тульских мастеров.

И вот все это, вместе взятое,—я имею в виду то немногое, что нам известно об этом историческом памятнике, и то многое, что «пока» неизвестно,—заставляет взглянуть на «бриллиантовый» эфес не просто как на тридцатитысячедолларовую изящную вещь. Кто сможет определить его подлинную историческую ценность? Когда? Не знаю.

На той же выставке сокровищ под стеклом лежит лоскут обычной материи, обычной бязи, из которой шились солдатские рубахи. Находясь в застенках колчаковской тюрьмы, красноармеец оторвал клочок этой рубахи и написал целое письмо, о своих переживаниях, о своей преданности Советской власти, о непреклонной вере в победу.

Сегодня этот бязевый лоскуток дороже иного предмета из драгоценного металла!

Приведу еще пример. Недавно мы узнали о существовании за границей, в



ВОЗРАСТ ЭТОГО СОСУДА БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ.

коллекции одного частного лица, серебряного ковша, изготовленного в 80-е годы XVIII века в Тобольске. Владелец ковша назвал сумму—4 тысячи долларов. Мы приобрели эту вещь. Ковш большой, золоченый с чернью, с выгравированной подписью мастера, с клеймом города Тобольска. Красивый ковш, но сосуды подобной работы в нашем музее имеются. И вряд ли бы мы заинтересовались этим экземпляром, если бы не одна особенность его биографии: приобретенный нами ковш был в свое время подарен генерал-губернатором Сибири одному из купцов за помощь в подавлении крестьянского восстания Пугачева. Таким образом, произведение искусства, ценное само по себе, получает как бы дополнительную цен-

ность—ценность исторической реликвии, которая свидетельствует, насколько опасно было восстание Пугачева для власти имущих, коли они не скупилась так щедро поощрять тех, кто жестоко подавлял его.

И почти одновременно с переговорами о приобретении ковша к нам в музей привезли... булыжники. Они потребовались, чтобы воплотить замысел художников—в одном из залов воссоздать обстановку баррикадных боев революции 1905 года. Конечно, эти булыжники были взяты не просто «с улицы». Во время ремонтных работ на Красной Пресне мы направили туда группу своих сотрудников, которые и собрали эти булыжники на месте одного из боев первой русской революции. Но самое любопытное, с точки зрения вашего вопроса о ценностях, произошло позже, когда ко мне пришел заведующий одним из отделов музея и стал настоятельно требовать, чтобы каждый из найденных гранитных булыжников получил инвентарный номер и был внесен в книгу учета наших экспонатов. Удивляетесь? Признаться, моя первая реакция была такая же. Но, возразил мне заведующий, мы же храним найденные во время археологической экспедиции в Новгороде остатки древней деревянной мостовой. Сегодня краснопресненские булыжники еще не представляют уникальной ценности, но пройдет сто лет...

Так что, как видите, понятия исторической ценности и материальной стоимости зачастую бывают очень разными.

— Известно, что коллекции Исторического музея увеличиваются ежегодно на 20—30 тысяч единиц. Отвечая на предыдущий вопрос, вы рассказали об истории появления двух новых экспонатов. Но хотелось бы подробнее узнать об основных путях пополнения фондов музея.

— Поступление экспонатов в музей—процесс далеко не стихийный. И музейный работник меньше всего похож на человека, ждущего у моря погоды. Поисковые экспедиции стали обычной формой нашей работы. Пожалуй, можно выделить три вида поиска. Первый—когда мы знаем, и что и где искать. Например, готовясь к открытию экспозиции «БАМ—стройка века», группа наших работников выехала в район строительства магистрали с совершенно четкими задачами. Второй вид поиска—мы знаем, что искать, но можем только предполагать, где. Чаще всего так бывает в фондовых отделах, сотрудники которых стараются восполнить пробелы, существующие в той или иной коллекции. И третий—известно, где надо искать, но трудно сказать заранее, что там найдется. Это относится к нашим экспедициям, выезжающим в район археологических раскопок.

Кроме того, в музее существует постоянная закупочная комиссия, состоящая из специалистов-экспертов высокого класса. На их суд передается любая вещь, предлагаемая музеем отдельными гражданами.

В последнее время мы всемерно стремимся развивать прямые контакты с различными организациями, промышленными предприятиями. Эта новая форма музейной деятельности сегодня становится доброй традицией. Вот, например, недавно у нас состоялась встреча с коллективом старейшей в стране строительной организации—Главмосстроя. На этой встрече московские строители передали на вечное хранение музею множество реликвий, представляющих большую ценность,—знамя Главмосстроя, почетные грамоты, документы, характеризующие размах жилищного строительства в столице.

— Но, видимо, бывают и «незапланированные» находки? В газетах порой встречаются сообщения о найденных кладках. Попадают ли они в Исторический музей?

— Клады—это как посылка, отправленная из прошлого «до востребова-

ния». Кто и когда востребует ее—неизвестно. И каждый раз получение такой посылки—это соприкосновение с маленькой тайной.

Чаще всего в кладах находятся металлические деньги, украшения. Порою эти находки представляют значительный интерес и для историков. Так, полностью поступил в наш музей найденный в Москве клад мексиканских монет. Однако не менее ценными бывают и находки другого рода. В Москве же при переезде одного из старинных домов рабочие нашли в стенах целую кипу бумаг. Об этом они тут же поставили в известность работников нашего музея. (Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто в подобных случаях не забывает о нашем существовании.) Сотрудники музея выехали на место и установили, что эти бумаги относятся к XVIII веку. Разумеется, они плохо сохранились и еще полностью не расшифрованы, но уже сейчас можно сказать, что находка оказалась весьма важной, поскольку обнаруженные документы имеют прямое отношение к декабристам.

Прошлый год вообще оказался весьма «урожайным» на находки, связанные с декабристским движением. В районе строительства БАМа, в развалинах дома, некогда посещаемого ссыльными декабристами, молодые строители «магистрали века» обнаружили серебряную ложку с вензелем «ВК». И наши специалисты допускают возможность, что эта ложка принадлежала Вильгельму Кюхельбекеру. Сейчас находка экспонируется на выставке «БАМ—стройка века», определенным образом дополняя наше представление о прошлом этого района. Но, без сомнения, этот экспонат найдет свое место в новом филиале Исторического музея, посвященном истории декабристского восстания, который, надеемся, будет открыт в Москве.

А теперь представьте мое удивление, когда однажды, придя в музей, я услышал: «Вам звонил Муравьев-Апостол». «Какой Муравьев-Апостол?» — «Не знаем. Оставил свой телефон». Звоню, мой собеседник оказывается потомком тех

самых Муравьевых. Приехал в Москву из Швейцарии, побывал в нашем музее, на Новодевичьем кладбище, где похоронены его предки. Отношение к памяти декабристов в нашей стране настолько поразило этого человека, что он сказал о желании передать в Исторический музей хранящиеся у него личные вещи своих предков, декабристов Матвея и Сергея, их ордена, прижизненные портреты, письмо из Петропавловской крепости. И сейчас мы ведем об этом переговоры.

— Мы уже говорили, что сейчас в музее около 4 миллионов экспонатов. И если каждому из них уделить лишь по десять секунд, то при существующих нормах рабочей недели даже такой беглый осмотр занял бы более пяти лет. Конечно, никто из приходящих в музей не ставит перед собой такой задачи. У всех есть свои пристрастия, свои интересы—сокровища Исторического музея позволяют удовлетворить потребности каждого посетителя. Школьники приходят сюда, чтобы воочию увидеть то, о чем слышали на уроках; ученые—поработать с уникальными документами; кинематографы—посоветоваться, как достовернее отобразить на экране ту или иную историческую эпоху; художники и поэты черпают здесь вдохновение и темы для своих работ, ибо, как сказал Пушкин, «гордиться славою своих предков не только можно, но и нужно». Тысячи людей идут в Исторический, чтобы прикоснуться к дорогой истории, чтобы лучше узнать ее.

Если бы у вас, Константин Григорьевич, была возможность напугать каждого входящего в музей, что бы вы ему пожелали?

— Прежде всего я напомнил бы слова Льва Толстого: «А не то дорого знать, что земля круглая, а то дорого знать, как дошли до этого». Любознательности, искренней любознательности хотел бы я пожелать каждому, приходящему на свидание с Историей.

Хочу подчеркнуть, что для любознательного, интересующегося человека в нашем музее нет таблички «Посторонним вход воспрещен». У нас нет абсолютно «закрытых» экспонатов, пожалуй, кроме отдельных экземпляров тех редких предметов, рукописей, книг, которым просто противопоказано находиться на свету, соприкасаться с воздушной средой и т. д.

Интересующемуся человеку доступны все наши фонды—драгоценных металлов, оружия, керамики, тканей, нумизматики... Я говорю интересующемуся, потому что, конечно, оформление экскурсий в фондовые экспозиции—дело несколько более хлопотное, чем покупка обычного билета в кассе музея. По понятным причинам (ведь фондовые коллекции размещены в помещениях, где ведется большая научно-исследовательская работа) мы ограничиваем количество людей в таких экскурсионных группах, строго определяем время посещения. К сожалению, не могу сказать, что мы страдаем от обилия заявок на подобные экскурсии.

Музейный «взрыв», или музейный «бум», о котором сейчас немало пишут, на мой взгляд, порой приобретает характер модного поветрия. Посещение музеев для некоторых молодых людей становится чуть ли не составной частью «хорошего тона». Такому человеку, чтобы «соблюсти приличия», достаточно лишь однажды побывать в музее. Но разве можно говорить о любознательности, заинтересованности такого посетителя, который только один раз зашел в Эрмитаж или в Третьяковку? А сколько интересного остается вне поля зрения того, кто просто пробежал по залам нашего Исторического музея!

Поэтому именно любознательности, искренней любознательности хочу я пожелать каждому входящему в здание Государственного музея Ленина Исторического музея, собравшего бесценные реликвии, воплотившие в себе и «доблести минувших поколений» и героические свершения наших современников.

У СТЕНДА, РАССКАЗЫВАЮЩЕГО О ВОССТАНИИ ДЕКАБРИСТОВ.



ГОРОД ПРИНЯЛ!

Братья ВАЙНЕРЫ

ПОВЕСТЬ

5. Старший инспектор МУРа Станислав Тихонов

Я увидел Риту — и сердце, как зазевавшийся ударник, сделало паузу на три такта. И сразу же рванулось вдогонку, частая и сбиваясь.

— Рита?

— Здравствуй, Стас! Я так рада тебя видеть!

Сказала она это громко, искренне, и все наши молодцы, занятые своими делами, повернулись к нам, потому что ее голос как-то легко, без сопротивления перекрыл коммутаторный клекот, глухое бормотание Микито, диктовавшего что-то в селектор, металлическое чоканье телетайпа, скрученные в споре басок Севергина и фальцет Давыдова, смех Скуратова и Халецкого, которым Задирака вполголоса рассказывал анекдот. Все повернулись к нам: Рита шла мне навстречу с протянутыми руками, я невольно двинулся к ней, и наша встреча посередине оперативного зала, наверно, исторгла бы слезы творческого счастья у директора народного театра милиции Ивана Васильевича Зурина. Что касается меня, то я бы предпочел после восьми лет, когда мы не виделись, встретиться с Ритой в менее официальной обстановке, при меньшем количестве зрителей, с меньшим общественным мнением.

— Ага, Тихонов и тут раньше поспел! — сказал Скуратов.

— Друзья встречаются вновь! — крикнул всегда боявшийся опоздать Задирака.

— В молодости мы никогда не встречаем старых друзей, мы с ними только «видимся» или «созваниваемся», — усмехнулся Халецкий.

— Эксперт и инспектор — рифмуются? — спросил собаковод Одинцов, сооружающий стишата для стенгазеты.

— Вам, товарищ Ушакова, как начинающему эксперту, будет очень полезно пообщаться с Тихоновым! — обнадежил своим пронзительным голосом Давыдов.

— А-ариганально! — подбил бабки закончивший передачу Микито.

И только Григорий Иванович ничего не сказал. Он смотрел, прищурив, своими близорукими глазами, и мне на миг показалось, что он все знает про нас, про все то прошлое, давным-давно сгоревшее, заспанное пеплом забвения. Он похлопал меня по плечу:

— Хорошо, что ты сегодня в моей смене. Давно мы с тобой не дежурили, дружок...

Задирака включил приемник радиотрансляции.

— ...Острый политический и конституционный кризис в Австралии привел к смещению правительства... — сказала Катя.

— Теща просит приехать — кабана зарезать, а я крови до жути боюсь, — не слушая, бормочет Микито на ухо Одинцову.

— Из Москвы в Бонн отбыл федеральный министр иностранных дел ФРГ Геншер, — доверительно сообщила Катя. Она всегда так говорит: будто какую-то тайну сообщает — может быть, и не очень даже секрет, но лишнего болтать не стоит.

— Ну, что, притомился? — спросил Севергин Давыдова.

— Да ничего. Знаешь ведь — волчок стоит, пока крутится, — махнул рукой тот.

— Это же надо — глупость какая, зуб мудрости надумал резаться, — вздыхал Одинцов, и лицо у него, с чуть вздувшейся щекой, было обиженное, сердитое и несчастное.

— ...Губернатор Алабамы расист Уоллес официально подтвердил свое намерение добиваться избрания на пост президента от демократической партии... — сказала Катя, и в голосе ее было искреннее огорчение по поводу реакционных планов губернатора-расиста.

— По коням? — спросил Севергин.

Давыдов встал, одернул на животе мундир, и мы все поднялись. Хотя нет такой уставной обязанности, традиции бывают часто сильнее любых предписаний устава. И Севергин замер смирно.

— Ответственный дежурный по городу Москве подполковник Давыдов город сдал!..

— Ответственный дежурный подполковник Севергин город принял!..

На табло электронных часов прыгнула цифра, и на серой плите засочилось рубиново — 10.06.

— Вы слушаете программу «Маяк», — сказала нам всем Катя. — На волне «Маяка» — музыка из кинофильмов...

Я поворачивал ручку радиоприемника, и Катин голос в нем медленно исчезал.

— Внимание, товарищи, — сказал Севергин и с указочкой в руках подошел к автоматической схеме города. — В Москве появился опасный преступник. Вчерашнюю и позавчерашнюю сводки читали?

Смена ответила дружным хором: «Читали», — и только я отстал от всех немного, потому что слушал Катю и в то же время смотрел на Риту.

— Вот здесь, здесь и здесь... — Он показал на кружочки отделений милиции в Октябрьском районе, мигавшие красными лампочками — знаком нераскрытого, дующего преступления. — Суммируем коротенько. Позавчера в двадцать один пятнадцать по адресу улица Коперника, семь, в лифт одновременно с гражданкой Осокоревой, тридцати девяти лет, инвалидом второй группы, вошел неизвестный. На четвертом этаже он остановил лифт, под угрозой ножа забрал у потерпевшей сумочку, снял с руки часы и золотое кольцо. Затем опустил лифт на второй этаж, вынул из сумочки двадцать рублей и вышел, бросив в последний момент в кабину сумочку с документами...

Я раскрыл свой блокнот, записал адрес и фамилию потерпевшей.

— Вчера, в двадцать пятьдесят, — продолжал Севергин, — в доме одиннадцатый по Ломоносовскому проспекту при аналогичных обстоятельствах преступник отнял десять рублей, часы и серьги у гражданки Селивановой, пятидесяти лет. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление, и тогда преступник нанес ей демонстративное ранение ножом в плечо. В состоянии острого нервного потрясения гражданка Селиванова доставлена в Первую Градскую, где ей оказана медицинская помощь...

«Кто-то из местных ребят шурует», — подумал я: с улицы Коперника на Ломоносовскую пройти — только за угол свернуть; определенно видно, что лень от дома отойти, молодой, наверно...

— ...Ровно через час сходное преступление было совершено также по соседству... — Севергин показал на план-схеме точку. — В доме десять по улице Строителей. Здесь во дворе много зелени, темновато. Гражданин Боярский, семидесяти четырех лет, неожиданно столкнулся с каким-то молодым человеком. От удара упали на землю очки Боярского. С извинениями, очень любезно молодой человек помог Боярскому отыскать очки, которые оказались разбитыми. Неизвестный предложил проводить Боярского до квартиры. В лифте, под угрозой ножа, преступник отобрал у потерпевшего бумажник, снял с руки часы. Так же, как и в первых двух случаях, спустив лифт на второй этаж, преступник нанес Боярскому сильный удар ребром ладони по глазам и скрылся, предварительно бросив в кабину бумажник, из которого вынул семьдесят пять рублей...

Рита шепотом спросила меня:

— А как он выглядел, этот бандит?

За меня ответил Севергин:

— Во всех случаях действовал мужчина лет двадцати пяти, невысокого роста, узкоплечий, волосы темные, подстрижены ежиком, глаза карие, лицо бледное, нос прямой... Это данные, которые потерпевшие помнят определенно. И еще особенность: в первом случае он был в сером костюме, Осокорева запомнила — спортивного покроя, в двух следующих — в темном плаще с поднятым воротником...

— Ничего удивительного, — сказал я. — Позавчера было тепло и сухо, а вчера с утра похолодало и шел дождь. Вот он и надел плащ.

— Наверное, так, — кивнул Севергин. — По делу идет активная работа, район происшествия будет усиленно патрулироваться, а вы, товарищи, имейте в виду эту ситуацию, чтобы в случае сигнала отреагировать мгновенно. Служба «02» предупреждена...



А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО С ШОФЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ НАЧИНАЕТСЯ СТИРАНИЕ ГРАНИ МЕЖДУ ТРУДОМ УМСТВЕННЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ?



ПРЕСТУПНИК СЕЛ ЗДЕСЬ В МАШИНУ.

— Слушай, Стас,— сказала Рита.— Но ведь это невероятный мерзавец! Ты обратил внимание, какие жертвы он себе выбирает?

Я молча кивнул. Объяснять ей, что, собственно говоря, все разбойники, грабители— мерзавцы, потому что финкой или пистолетом угрожают безоружному человеку, сейчас было неуместно. Я только сказал:

— У нас насмотришься всякого...— И сразу же пронзительно зазвенел телефон и замигала желтая лампочка на пульте. Микито нажал тумблер и сказал в микрофон:

— Заместитель дежурного по городу слушает...

Мы все еще переговаривались о чем-то своем, таком, что связывало нас с прошедшим днем, только что проглоченным красным жерлом часов, шутили и огорчались, но все это было там— за незримым барьерчиком, когда Севергин еще не сказал «Город принял!», потому что сводка Севергина, резкий звон и желтый блик сигнальной лампы Микито уже включили нас в долгую и мутную круговорот под названием «суточное оперативное дежурство по городу», и все, что происходило теперь с миллионами людей на сотнях километров улиц в бесчетном сонмище домов, стало нашим делом и нашей тревогой, нашим большим ожиданием неведомого, и Микито, прижимая трубку плечом, делал пометки в оперативном журнале, а потом, скосив на нас глаза, кивнул, дал отбой и сказал:

— Кража...

И все повернулись теперь к Микито, и я краем уха услышал его, хотя фиксировал только необходимую мне информацию, потому что по-прежнему смотрел на Риту, которая успела мне сказать:

— Ты совсем не изменился!..

Вот видишь, Рита, я совсем не изменился. Не повзрослел, не поумнел, даже морщин больше не стало?

А ты изменилась. Из хорошенькой угловатой девушки ты превратилась в красивую зрелую женщину. И нет в твоих глазах больше сияющей уверенности, что весь огромный мир, голубой и зеленый, создан, чтобы радовать тебя и служить тебе. Больше всего ты любила голубой и зеленый цвета. А теперь ты, наверное, любишь синий и оранжевый— ты ведь в отличие от меня сильно изменилась.

— На улице Рихарда Зорге обворовали машину...— объяснял Микито.

Ах, Рита, как жаль, что и я сильно изменился! Я бы так мечтал остаться прежним, тем веселым лопухим парнем, который безумел в твоём присутствии, стараясь каждый раз совершить поступок такой сложности, чтобы никто из твоих друзей и попробовать не мог с ним поспорить,— и тем не менее с каждым очередным подвигом, отдалявшимся от тебя все больше и больше...

— Ночью с «Волги» сняли левую переднюю дверь...

Помнишь, Рита, как ночью ты показала мне на асфальтовый каток в Уланском переулке— на всем катались, а на катке не доводилось!— и через минуту я уже запустил его усталый астматический мотор, сел за жирную от смазки, еще теплую баранку, и мы с тобой покатались неспешно по всем Сретенским переулкам, в клубах едкого солярового дыма, с оглушительным треском, и я слепнул от счастья на поворотах, когда тебя прижимало к моей спине.

— Машина принадлежит знаменитому хоккеисту— олимпийскому чемпиону Алексеву,— закончил Микито и поджал губы, мимически изображая значительность происшествия.

— Дай указание в 109-е отделение и поставь на контроль в Ленинградском райуправлении,— распорядился Севергин.

— Григорий Иванович, я, конечно, не вмешиваюсь,— развел руками Микито.— Но ведь такой человек— Алексеев! Можно сказать, ас нашей ледовой дружины!..

Микито был заядлый болельщик, а комментатора Николая Озерова почитал крупнейшим художником слова и с большим вкусом повторял его любимые словечки и выражения.

— Ну и что?— посмотрел на него поверх очков Григорий Иванович.

— Так им там на месте слабо разобраться! Если наша группа выедет, Тихонов все организует в два счета! Ведь тут же понимать надо— это Алексеев! Когда он под шайбы ложится, тоже ведь о себе не думает! А ему какое-то паршивое ворье может сбить весь психологический настрой!..

Григорий Иванович засмеялся, покачал головой, посмотрел на красное табло электрочасов:

— Пожалуй, ты прав. Время еще раннее, тихое. Пусть группа готовится на выезд, а ты, Стас, запроси...

Мы переглянулись, и Севергин кивнул:

— Я тебе потом все по рации передам...

Рита недоуменно посмотрела на нас, Григорий Иванович усмехнулся:

— Беготня— дело нехитрое. Работать надо экономно.

Я стал набирать номер автомагазина, а Севергин уже перешел на селекторскую передачу:

— Внимание! Товарищи дежурные территориальных отделений! Ожидайте у телефонов! Ожидайте у телефонов!.. Ожидайте у телефонов!

Желто-жемчужными пузырьками всплывали бесчисленные лампочки на сером металле генерального пульта— вся милицейская сеть Москвы замыкалась на селектор Севергина.

— Прошу всех ожидать, не все еще сняли трубки. Товарищи, говорит ответственный дежурный по городу Севергин...

— Что вы чувствуете, заступая на дежурство по городу?

— Ответственность и тревогу; ответственность за порядок в городе и тревогу за человеческие судьбы!..

Интервью с дежурным по городу.

6. Григорий Иванович Севергин

Прежде чем начать циркуляр, надо дожидаться, пока вспыхнут все лампочки на пульте: тогда ни один из дежурных не пропустит передачу. Время сейчас самое канцелярское— докладываются итоги за сутки, руководство на местах знакомится с обстановкой, «указников»— мелких хулиганов— собирают для поездки в суд; инструктируют на разводах дневную смену. Так что некоторые дежурные медлят, лампочки под номерами их отделений не подают признаков жизни. Но я их не

тороплю— циркуляр не из самых срочных, пусть управляются с неотложными делами. Тихонов пока что пробивается в автомагазин.

— Алло, алло, магазин? Девушка, золотко...— Голос Стаса звучит бархатно, вкрадчиво, знает, черт знает, что секретарш с утра надо брать лаской.— Михал Борисыч, нарисуйте, срочно нужен...

Видимо, секретарша проникается сознанием того, что Михал Борисыч доискивается человек не чужой— Стас приглушенно бормочет в трубку:

— Михал Борисыч, голубчик, Тихонов из МУРа побеспокоил... а, ну да... Нужно... Помялись тут ребята немного... Двери передние, для «Волги»...

Выслушивает длинную тираду, с постным лицом кладет трубку, сообщает:

— Директор кланется дедушкой, что два месяца дверей для «Волги» не было и в помине. И при всей любви к представляемой мною организации раньше, чем в следующем квартале, не обещает. Посоветовал обратиться в трест «Автотехобслуживание»...

Начинает накручивать телефон в трест, а у меня уже все лампочки на пульте задействовали, и я передаю:

— Товарищи дежурные! Передача касается тех, у кого на территории находятся станции обслуживания легковых автомобилей... остальным можно отключиться... На пульте волной проходит рябь от гаснущих лампочек, остается... пять, десять, двенадцать... Ага, так. Продолжаем.— Запишите, товарищи. Надо подослать людей на станции обслуживания, пусть изымут неудовлетворенные заявки на ремонт или замену левой передней двери автомашины «ГАЗ-24». По мере поступления данных звоните. Повторяю...левой передней двери «Волги»... Передача окончена, прошу положить трубку. Тихонов тем временем беседует с трестом:

— Ну, вы поймите, очень нужно... Где, на Хорошевской? А поближе нельзя?.. А-а, ну-ну... Большое спасибо!— И поворачивается ко мне.— Лично, говорю, для вас сделаю одну дверку.

Новенькая, Маргарита Борисовна, во все глаза смотрит на нас: похоже, она полагает, что мы решили достать потерпевшему взамен похищенной другую дверь, раз такой дефицит. Мы перемигиваемся, и я звоню дежурному ОРУД-ГАИ:

— Деметьев, скамандуй районным ГАИ быстро поднять за две недели копии актов на аварии, где повреждена левая передняя дверь «двадцатьчетверки». Через двадцать минут перезвоню. Отбой.

В дверях зала возникает Задирака. Он прислоняется к телетайпу, скрестив на груди руки— у него это означает немой укор: опергруппа готова, а мы тут прохлаждаемся.

— Давай, Стас, двигай,— хлопаю его по плечу.— По мере поступления данных буду передавать.

И поворачиваюсь к новенькой:

— Хотите прокатиться для ознакомления? Слушай не ваш, но так, для интереса...

Я-то вижу, что они со Стасом старые знакомые и, пожалуй, давно не виделись. Пусть пошепчутся.

— Если можно, я с удовольствием...

Поднялась, зацокала каблучками, а в глазах радость. Очень приятная женщина.

Из Гагаринского района звонят: кабаны забежали. Надо разобраться, а то еще людей покалечат.

— Гагаринский? Ответственный дежурный по городу Севергин. У вас около шведского посольства





ЯНВАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЕЧАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО БРОНКСА

Бронкс — это название жилого района в Нью-Йорке, где живет полтора миллиона человек. Район держит первое место в стране по количеству совершающихся там преступлений, а также по количеству пожаров. В среднем в день здесь бывает тридцать пожаров. Сгоревшие дома обычно никто не восстанавливает, и некоторые кварталы Бронкса выглядят, как после бомбардировки. Установлено, что в большинстве случаев виновниками пожаров являются сами владельцы домов. Обычноделец, купивший за недорогую цену дом, сдает его поквартирно людям, не имеющим над головой крыши, а затем начинает выкачивать из своих жилищ немалую квартирную плату, не утруждая себя ремонтом и обслуживанием дома. Через несколько месяцев, полу-

чив изрядную прибыль, домовладелец отдаст дом «на волю божию». Большинство обитателей разрушающегося дома находит себе новое пристанище, а владелец за 200 долларов нанимает профессионального поджигателя, который со знанием дела выполняет порученную ему «работу». Владелец получает несколько десятков тысяч долларов по страховому полису.

Бывший шеф полиции Бронкса Т. Боуза говорит: «Мы создаем в Бронксе то же, что когда-то древние римляне в своем Риме — постоянную касту безработных и отчаявшихся людей, которым буквально нигде податься, поскольку у нашего общества не находится для них места».

«МАДЬЯР ИФЬЮШАГ», ВЕНГРИЯ

АВТОРЫ ЖДУТ ЧИТАТЕЛЯ

Видо Мати листал старую толстенную книгу. Он перевернул очередную страницу и увидел письмо. Оно было написано автором книги, испанским философом Хейрро. В письме было сказано, что человек, обнаруживший это письмо, должен обратиться в суд Барселоны и попросить там некий документ.

Оказалось, что этот документ — завещание Хейрро, датированное 1741 годом. Автор жаловался, что так называемые друзья и коллеги осмеивают его книги как совершенно бессмысленные. Придет время, выражал убеждение автор, когда он будет признан во всем мире и студенты станут ценить его книги как самые популярные учебники. Завещание заканчивалось фразой: «Я завещаю все свое состояние тому молодому человеку, который первым обратится к моим работам».

Хейрро едва ли догадывался, что пройдет более двухсот лет, прежде чем кому-либо придет в голову достать с полки его книгу. Удачливый Мати получил 65 тысяч фунтов стерлингов.

Похожая история произошла еще однажды. Некий любитель поэзии приобрел тоненькую книжечку стихов поэта, умершего в неизвестности. Владелец лавки был рад избавиться от древней книжечки, получив за нее пять пенса. Любитель поэзии увидел, что две страницы склеены. Он аккуратно разрезал их и обнаружил четыре фунта и записку: «Деньги, которые вы держите в руках, составляют все, что принесла мне поэзия. Пожалуйста, возьмите эти четыре фунта себе, поскольку вы, вероятно, единственный мой читатель».

«УИКЭНД», АНГЛИЯ

МИЛЛИОНЕР — ГЛАВАРЬ БАНДЫ

Австрийская полиция раскрыла недавно крупную банду, которая специализировалась на краже картин и скульптур не только из австрийских музеев и церквей, но, например, даже из Югославии. Был обнаружен и склад украденных произведений искусства: он находился в анжон погребке небольшого отеля в Тироле. Каталоговая цена помещенных в нем картин и скульптур превышала 120 миллионов австрийских шиллингов. Шефа банды арестовали в последнюю очередь. Им оказался Герхард Бергер, торговый советник (такие он получил от министра торговли),

предприниматель и мультимиллионер. Полиция предъявила ему неопровержимые улики, однако Бергер, напуганный, разумеется, лучших венских адвокатов, уже со времени своего ареста играет на «смягчающих обстоятельствах». На допросе он заявил, что стал жертвой своей страсти к коллекционированию, что все украденные картины предназначались только ему, а не для перепродажи: «Ведь у меня достаточно денег...»

Ну и аргумент!

«СВЕТ СОЦИАЛИЗМУ», ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КУДА ПЛЫЛИ КОРАБЛИ КОЛУМБА?

Ясно, что в Индию, — таково было до недавнего времени всеобщее мнение. Историки были убеждены, что Христофор Колумб открыл Америку случайно — в поисках морского пути в Индию. Однако в последнее время все чаще высказывается убеждение, что дело обстояло иначе — Колумб знал, куда он плывет.

Отправляя Колумба в дальнее плавание, испанский двор предвидел результаты путешествия. В противном случае трудно объяснить необычную щедрость скуповатого короля Фердинанда и его супруги Изабеллы: Колумб получил два миллиона золотых песет и три корабля с многочисленным экипажем, ему был обещан титул «адмирала морей и океанов» плюс звание вице-короля всех новооткрытых земель.

На Канарских островах каждый капитан корабля получал от Колумба запечатанный конверт с надписью: «Открыть, когда утихнет буря». В конвертах был приказ: на расстоянии 700 лиг (около 4150 километров) от Канарских островов каравеллы ни в коем случае не должны плыть ночью. Колумб знал, что именно на таком расстоянии мореходам должны встретиться острова Карибского моря, поэтому-то он и запрещал двигаться ночью, чтобы не пропустить землю. А до встречи с землей движение было круглосуточным, как если бы адмирал был совершенно уверен в направлении.

Любопытно, что во время плавания Колумб вел два дневника: один — настоящий, для себя, другой же — фиктивный, для экипажа, который мог быть смущен огромным расстоянием, отделяющим его от Испании. 11 октября 1492 года Колумб заявил, что на следующий день они увидят землю. И действительно, 12 октября корабли прибыли в Новый Свет.

Все эти факты говорят о том, что Колумб располагал необходимой информацией, чтобы несколько не колебаться в выборе курса. Тщательный анализ судовых



дневников подтверждает, что адмирал чувствовал себя в необъятных просторах океана очень уверенно. После Канарских островов корабли твердо держались 28-й параллели (географическая широта Флориды), все время идя в зоне западных ветров, несших их прямо на острова Карибского моря. Лучшего морского пути из Старого Света в Новый не найдено до сих пор!

Но при всем этом Колумб в интересах своих хозяев убеждал свой экипаж, что новооткрытая земля — есть Азия и что сей факт никакому сомнению не поддается. Адмирал вовсе не собирался афишировать свое открытие, выполняя волю короля Фердинанда, который был заинтересован в сохранении тайны новых богатых земель — для этого у него было достаточно оснований. История открытий Колумба представляется нам теперь сенсационным неоконченным рассказом. Раскроет ли кто-нибудь эту тайну?

«СКАНОРАМА», ШВЕЦИЯ



Окрашенные в голубой и золотистый цвета вагоны Восточного экспресса, самого знаменитого поезда в мире, овеянного тайнами и романтикой приключений, в мае 1977 года пересекли Европу в последний раз. Яркая история поезда началась девяносто пять лет назад, 4 октября 1883 года, когда принцы, дипломаты и шпионы отправились в трехдневное путешествие из Кале в Стамбул в вагонах, оборудованных с королевской роскошью.

Как известно, многие писатели отправляли своих героев в поездку в этом поезде. Напомним, что один из романов Грэхема Грина так и называется «Поезд в Стамбул». Леди Чаттерли также путе-

шествовала в Восточном экспрессе, как и шпионка, ставшая героиней одной из книг Альфреда Хичкока. Но самый знаменитый роман, связанный с рейсами поезда из Кале в Стамбул, — это, конечно же, «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Интересно, что фильм, созданный по этому роману, вышел на экраны Индии как раз в дни последнего рейса знаменитого поезда.

Восточный экспресс прекратил свое существование потому, что стал нерентабельным. Теперь пассажиры предпочитают путешествовать самолетами.

«ИЛЛЮСТРЕЙТЕД УИКЛИ ОВ ИНДИЯ», ИНДИЯ

Наступление пустыни

Ученые подсчитали, что в ближайшие пятнадцать миллионов лет большая часть Австралии, Южная Америка, не говоря о таких районах, как африканская Сахара или Гоби, где уже сейчас дожди выпадают один раз в двадцать пять лет, рискуют превратиться в мертвую пустыню. Такие образцы, если в 1977 году из сорока пяти миллионов квадратных километров суши обрабатывалось только четырнадцать, то в будущем человечество может потерять более половины используемых ныне сельскохозяйственных земель. И это при все ускоряющемся демографическом росте.

Положение ухудшается неблагоприятным воздействием человека на окружающую среду. Так, применение американцами во Вьетнаме отравляющих веществ вызвало резкое увеличение числа засух.

Серьезно обеспокоенные своим будущим, молодые государства Африки, которой опасность грозит в первую очередь, уже сейчас ставят борьбу с наступающей пустыней в один ряд с важнейшими государственными проблемами. Представитель Алжира, например, заявил на конференции стран Африки в Найроби, что его страна приложит все усилия, чтобы в ближайшие пятьдесят лет превратить шестьсот пятьдесят тысяч квадратных километров Сахары в орошаемые земли. Уже сейчас в пустыне ведется строительство каналов и огромного искусственного озера.

«ЮМАНТЕ ДИМАНШ»,
ФРАНЦИЯ



ДЕТИ КОНТРОЛИРУЮТ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Каждое утро, перед тем как отправиться в школу, десятилетняя Каролина Доннелли выбирает полдюжины таблеток из кучи прописанных ей лекарств и проглатывает их. Остальные таблетки она складывает в походную микроаптечку, чтобы принять эти лекарства в школе.

Каролине недавно сделали пересадку почки в больнице штата Массачусетс. В этой лечебнице в последние полтора года все больные, которым были пересажены те или иные органы, проходят курс обучения, позволяющий им контролировать состояние своего здоровья. Каролине и пятнадцати другим детям и подросткам в возрасте от семи до семнадцати лет объяснили, в чем смысл применения того или иного лекарства, научили распознавать возможные побочные эффекты, которые может вызвать употребление рекомендованного им средства. Таким образом, как полагают местные врачи, школьники могут сами следить за тем, как идет процесс выздоровления после операции, лишь время от времени получая помощь от родителей, которых тоже соответствующим образом проницировали.

Программа такого самолечения, как утверждает медицинский журнал, сокращает число телефонных звонков в больницу, а кроме того, теперь реже случаются ситуации, когда родители забывают сообщить врачам о заметных изменениях в состоянии здоровья ребенка, перенесшего операцию.

«РИДЕРС ДАЙДЖЕСТ», США

«ВСЕ — НА ЛУНЕ, НИЧЕГО — НА ЗЕМЛЕ!»

Эти слова принадлежат Эдвину Олдрину, 47-летнему американцу, который был вторым человеком, ступившим 21 июля 1969 года на Луну. Сейчас Олдрин торгует в Лос-Анджелесе автомобилями фирмы «Кадиллак». Возвратившись из космоса, он вынужден был констатировать, что «на Луне для меня делалось все, но для жизни на Земле — ничего».

Он не смог найти себе никакой «земной» работы, жена бросила его, безработного. Тогда Олдрин взялся за коммерцию. «Когда я вновь почувствовал под ногами твердую землю, то начал продавать автомобили. И это дело идет у меня не хуже, чем у других».

Мы бы даже сказали — лучше, ибо Олдрину помогает памятник покорителя Луны.

«ШТЕРН», ФРГ



«РОК» БЕЗРАБОТНЫХ

Суббота в Сан-Элбеин (это городок в 50 км от Лондона). Местный концертный зал переполнен — модная музыкальная группа Джо Страммера дает очередной концерт. Зрители беснуются. Десятки пластиковых кружек и стаканов летают с одного конца зала в другой. Лица раскрашены краской, уши, носы, губы и даже девичьи груди пронзают большие английские булавы. Это своеобразный символ почитателей группы Страммера.

А на сцене? На сцене четверо одержимых играют как в транс. Коротко стриженный Джо Страммер двигается рывками, словно разлаженный механизм. Гитарист Майк Джонс и контрабасист Пол Симмонс бесконечно повторяют один и тот же аккорд. Один застыл, скрученный конвульсией, второй неестественно изгибается, точно акробат. А Джо Страммер выкрикивает в зажатый между коленями микрофон очередную строфу: «Мы задавлены автомобилями и электроникой!».

Что же такое «панк»? Выражение это употребляли в Англии в XVI веке, называя так женщин легкого поведения. Попад в США, это словечко стало означать самую низшую касту в мире гангстеров. И вот — «панк-рок»...

Однако «панк» — это не только музыка. Это специфичный стиль жизни, поведения, одежды: это ме-



шанина взглядов и мнений (тут и анархизм, и крайний экстремизм, и многое другое). И все это вместе является своего рода протестом против несправедливости и бесчеловечности буржуазного общества. Это крик отчаяния молодых людей, лишенных средств к жизни, не имеющих надежд на будущее. Выражение этого протеста приняло форму крайнего эксцентризма и дерзкого вызова. Новое течение появилось именно в момент, когда Англия вступила в один из глубочайших кризисов. И молодые британцы, не веря уже в какие-либо изменения к лучшему, ищут забытые в оглушительном, одурманивающем грохоте «рока».

«ПАНОРАМА», ПОЛЬША



Новая жизнь Сонгми

Название этой деревни известно во всем мире. Десять лет назад, 16 марта 1968 года, американские интервенты и южновьетнамские марионеточные войска учинили здесь дикую расправу над мирными жителями. В кровавой бойне погибли более пятисот ни в чем не повинных крестьян. Деревня была сожжена.

Сегодня, спустя два с половиной года после краха режима Тхиэу, в Сонгми из разных районов юга страны вернулись свыше восьми тысяч жителей. Они построили уже более 1700 новых домов. В Сонгми открылись начальная и средняя школы, в которых занимаются две с половиной тысячи детей. Жители поселка построили кооперативный магазин и небольшую больницу на двадцать коек. В прошлом году здесь вдоль дорог и в садах посадили почти

миллион деревьев, в том числе сандаловые деревья, кокосовые пальмы. «Зеленый пояс» скоро окружит Сонгми со всех сторон: крестьяне вместе с воинскими подразделениями обезвредили бомбы и мины, оставленные войной.

Исстрадавшаяся, сожженная земля сейчас щедро напоена пресной водой. Жители Сонгми провели ирригационные каналы длиной в девять километров, возвели дамбы, защищающие поля от наводнений. Уже в 1976 году крестьяне вырастили урожай риса, который полностью удовлетворил их потребности. Кроме того, они сумели продать 95 тонн риса государству. Добавим, что сегодня в Сонгми 9 рыболовецких бригад, в распоряжении которых более семидесяти моторных лодок.

«ВЬЕТНАМ ЮС», СРВ

Обзор зарубежной печати.
Материалы печатаются в изложении.



ГОРОД ПРИНЯЛ!

Начало на 26-й стр.

кабаны появились, граждане сообщают. А? Конечно, дикие. Вышли наряд, чтобы неприятностей не было. Доложи.

— Охотинспекция? Главное управление внутренних дел, дежурный по городу Севергин. В Гагаринский район кабаны забежали. Подключитесь? Ага, связываю вас с дежурным Гагаринского районного управления...

«ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИНИМАЕТ НЕМДЛЕННЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, УГРОЖАЮЩИМИ ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ».

Из инструкции.

7. Младший инспектор-кинолог старшина милиции Юрий Одинцов

Если верить науке, то думать может только человек. А собака обходится рефлексом. У меня, конечно, нет причин спорить со всеми этими учеными — доцентами там или академиками. Но только мне кажется, что в их расчетах сильная ошибка имеется. Может быть, они и сами искренне верят, будто собака неспособна думать, но происходит это у них, конечно, от непонимания.

Думают собаки. Хотя разбери меня на части, я не поверю, что существуют рефлексы сообразительности, отваги, верности и любви. Собаки во всем как люди. Среди них есть умники и тупицы, ласковые и неумные, трусливые и храбрые, злобные и добрые, веселые, унылые, жмоты и расточители, есть скромные таланты и важные бездары.

Как говорит наш инструктор капитан Емец, у них только вторая сигнальная система нет, разговаривать не могут. Но это ведь они по-человечьи не могут! И большинство людей их не понимает. А кто понимает, тому известно, что собаки думают.

Когда я прихожу утром к Юнгару, стоит мне переступить порог дежурной части, он начинает тоненько, счастливо выть, срываясь на басистый лай, а до вольеры еще добрых сто метров. Отпиранию зашелку, и он вылетает из домика — громадный головастый волчище, — и вой его, как пение, и визг, как смех, он лает и урчит, прыгает и катается по земле, потому что знает: и еще один день мы проживем вместе.

Я сажусь на скамеечку, и Юнгар без команды устремляется против меня и смотрит мне прямо в лицо своими красивыми выпуклыми глазами, и скалится, язык на сторону, пока я достаю из кармана ломтики докторской колбасы, жирок от ветчины, кусок сахара. Казенная пища — мясной суп из пшена с картошкой — питательна, да не лакома. А у хорошей собаки, как у всякого порядочного человека, свои пристрастия и слабости.

И вторая сигнальная система нам не нужна. Смотрю ему в глаза и слышу несущие будничные Юнгаровы мысли. Проводник Шалаев вчера на раздаче супа выгреб своему Карату все мясо, а Юнгару оставил больше крупы и костей, и Юнгар обиделся — не жалко мяса, а жалко, что Шалаев такой мелкий; и Юнгар зарычал на него, Шалаев замаяхнулся, и Юнгар его слегка тянул за сапог — пусть знает. Приходил доктор, но без меня Юнгара смотреть не стал — ни одна собака без проводника никому не разрешит себя трогать. По ночам теперь стало холоднее — звезды ближе и ярче, от этого грустно и нежно на душе, хочется выть. Собака Фархад вчера уехала на задание с проводником Костиным и больше не вернулась...

— Юнгар, ранили вчера Фархада. Ножом. Ты помнишь, как нож в руке перехватывать?

Юнгар открывает свою розовую пасть лохматого крокодила и осторожно берет клыками мою правую руку между локтем и кистью.

Еще в школе я читал книжку, и там было написано, что какой-то умирающий человек понял одну очень важную вещь — мы все уже когда-то жили на этой земле, только совсем в других обличьях и качествах: мы могли быть римскими императорами, или египетскими рабами, или тягловыми волами, или вольными птицами.

Я в своей прошлой далекой жизни был собакой.

— ...Милиция слушает...

— Говорит дежурный врач Второй Градской больницы. Сейчас поступил больной Николай Зозуля, восемнадцать лет, с сильными ушибами головы и лица. Избившего его человека он знает, но отказывается назвать. Говорит, что хочет сначала выяснить, готов ли тот заплатить за нанесенные ему побои, и в случае отказа намерен привлечь его к ответственности.

— Я сейчас к вам пришлю работника отделения милиции. Если у Зозули такие этические сложности, мы обоих привлечем за хулиганство... Отбой... Сорок шесть?..

8. Водитель оперативной машины сержант Александр Задирака

Когда мы с поворота пролетаем через Трубиную площадь, крик сирены полочет за нами, как едкий синий выхлоп.

Тихонов недовольно косится на меня, но молчит. Вот чудак-человек! Мы же не катафалк — это им нужно ехать печально и медленно. А у нас расчет на скорость. Я не скажу, конечно, что Тихонов опасается ездить со мной в быстром режиме, он парень крутой, но ему мои скорости — перегрузка для нервов. Я ему говорю: «Товарищ капитан, вам, может быть, шестьдесят км/ч — это груз, а для штангиста Ригерта — в руках авосенька, для кого-то скорость шестьдесят км/ч — это езда, а мне — глухое торможение!» А он мне: «Хвастун ты, Задирака!» Я чуть не задохнулся от таких слов. У нас в стране, может, два миллиона шоферов имеется, а у меня шестое место во всесоюзных автогонках. И то, если бы насос-ускоритель на последнем этапе не подкосил, еще неизвестно, как бы все сложилось. Хотя этих двух литовцев, братьев Гедрайтисов, и Рапопорта с «ЗИЛа» я бы все-таки, пожалуй, не обставил. У них ведь, как ни крути, международный опыт, и машину они, пожалуй, больше тетешкают.

Да, так я о чем толкую: в нашей жизни все решает скорость. Все мы гонимки в одном огромном ралли. Сейчас к экзаменам по мастерству без испытания на скорость никого не допускают. И это во всем — играешь ты в хоккей, водишь спецмашину, защищаешь какие-нибудь там диссертации или ловишь преступников. Мчимся мы по этапам как оглашенные, и судье-хронометристу наплевать, по проселку ты сюда прикондехал или по автобану прикатил, у него один отчет: фора — три минуты, движение идет по графику, или 36 штрафных баллов за опоздание.

Жаль, конечно, что Тихонова жизнь на скорости не волнует, много он от этого теряет. Он из-за этого сыщиком великим не станет и в чины большие не продвинется. Но, правда, каждый сам себе дорогу выбирает. Ему по душе тихий скок полированных коней на шахматных клетках, а по мне не может быть слаще мига, когда у тебя в моторе бешено заревели сто сумасшедших лошадей, которых я враз вздыбил безжалостной шпорой акселератора и под захлебывающийся вопль сирены погнался по Петровке по асфальту, по улицам, через жизнь...

— ...Товарищи дежурные, внимание! Внимание! Говорит Севергин! Все взяли трубки? Передаю сообщение. Прошу информировать все берегательные кассы, расположенные на вашей территории, о необходимости внимательно присматриваться к клиентам, которые будут продавать трехпроцентные облигации десятирублевого достоинства, свернутые трубочкой. Пачка облигаций может быть завернута в коричневую бумагу и перевязана красной шелковой ленточкой от конфетной коробки. Листы облигаций старые, мятые, на многих — сальные пятна. В случае возникновения подозрения принять меры по задержанию клиента. Отбой...

9. Рита Ушакова

Желто-синий кораблик наш вспарывает уличное движение, будто нож. Смешной бойкий парень Задирака гонит машину удивительно быстро, плавно и красиво. Может быть, водить автомобиль — это тоже определенный дар? Задирака поворачивает ко мне острый профиль — сверкающая шпиль фуражка чуть набок, кокарда ровно посередине лба — и говорит со сдержанным вызовом:

— А вы знаете, Маргарита Борисовна, что с шоферской профессии начинается стирание грани между трудом умственным и физическим?

— Да-а? — удивляюсь я.

— А как же иначе? От физического труда у меня — только педали нажимать и баранку подво-

рывать. Все остальное — чисто умственное. Глазмер, реакция, контроль дорожной обстановки...

— Мне кажется, что твой труд скорее стирает грань между городом и деревней, — сказал без улыбки Тихонов. Похоже, что он недолюбливал шофера. А мне этот парень чем-то симпатичен: в нем бьется одновременно тысяча сердитых быстрых пульсов еще не удовлетворенных желаний и не осознанных стремлений, он весь в непрерывном движении, он искрит, как заряженный аккумулятор.

Мчитесь по улицам наш желто-синий кораблик, похрипывая сиреной, «дворники» сбрасывают от стекла дождевые капли. Мне хочется всмотреться получше в лицо Стаса — такое же, как в последнюю нашу встречу, грустное и сердитое, беззащитное и неприступное. И это только в первый момент мне показалось, что он совсем не изменился. Но как-то неловко рассматривать его в упор, и я потихоньку подглядываю в зеркальце над лобовым стеклом. В его лице появилось что-то несовместимое — грустно-спокойный взгляд и чугунные желваки на скулах.

Ах, Мнемозина, прекрасная и строгая богиня памяти! Как долго ты не давала мне покоя своими вестями из прошлого, как долго сомнения и раскаяния заставляли все прикидывать и оценивать заново, и горечь от собственной глупости, боль от сознания своей эмоциональной неповоротливости чуть было не стали главными в ощущении мира вокруг меня. И только тогда Мнемозина, чьи причуды непостижимы, отступила. Она ушла, как раздосадованный кредитор, понявший, что с этого должника больше ничего не получишь. И воспоминания перестали мучить.

В них не было больше Стаса, а остались только какие-то неустойчивости и сложности нашего, с Драконом повседневного быта и униительное воспоминание о суде, где Костик, красиво формулируя, объяснял причину развода тем, что мы не сошлись характером, а во всем остальном я очень достойный человек и хороший, можно сказать, проверенный товарищ. И я старательно избегала мысли о том, как хорошо, что людям, любившим друг друга и не успевшим поставить печать о браке, а потом расставшимся, не надо впоследствии ходить в суд, объяснять, что мы не сошлись характерами, амбициями, взглядами, планами, выносливостью чувств и долготерпением наших недостатков. Потому что в суде мне надо было бы объяснять, что Стас не обращал внимания на мои недостатки и чувства его были больше и глубже, он сочувствовал моим планам и всерьез обсуждал ту взбалмошную ерунду, которую я считала своими планами. Его не огорчали мои амбиции, и потому мы с ним сходились характерами. Его любви и доброты было больше моей эгоистической погруженности в себя. И мы сходились характерами. Мы ведь сходились характерами...

— Милиция слушает, помдежурного Дубровский...

— Молодой человек, подскажите, пожалуйста, где можно купить «Боржом»...

— Повторите, не понял.

— Я спрашиваю, где можно достать минеральную воду «Боржом» или «Ессентуки» № 17. Дело в том, что у меня холецистит и язвенная болезнь...

— Обратитесь, пожалуйста, в специализированный магазин «Минводы».

— Ха! Там нет! Я и подумал, может быть, вы в курсе дела...

— Извините, не знаю. Отбой...

10. Старший инспектор МУРа Станислав Тихонов

По-моему, один Задирака умеет на такой скорости подтормозить плавно, мягко и в то же время мгновенно. Короб «уазика» только покачался немного на рессорах и замер. Я открыл дверцу, выскочил и галантно подал руку Рите. Чинно вышел следователь, за ним с облегчением вывалился наш «халдей», отирая взмокший лоб платком. «Когда я лечу в самолете или еду с Задиракой, я вспоминаю о боге», — объяснил как-то Халецкий. Сейчас, в присутствии Риты, он как-то подтянулся и шуткует чаще обычного.

Приступаем к раскрытию преступления века! — заявляет он, поблескивая стеклышками пенсне. Обычно я ввязываюсь в дискуссию, но сейчас спорить не хотелось, я сказал только:

— Значительность преступления определяется не только характером содеянного, но и личностью потерпевшего, — и посмотрел на Риту.

А она как раз и устала на личность потерпевшего, который встречал нас у подъезда своего дома. Собственно говоря, всякий владыка телевизора

давно знаком с этим сильным, выразительным лицом, сколько раз, пока камера показывала нашего будущего потерпевшего крупным планом, мы слышали взволнованный голос Николая Озерова: «Вот он, один из главных форвардов нашей ледовой дружины, девятикратный чемпион мира...» А теперь мы его видели не на экране, а «живого», без клюшки, в застиранном, пузырящемся на коленях олимпийском костюмчике и в кедах. Вполне понятно, что Рита так на него смотрела, мне и самому было интересно с ним познакомиться.

— Как они уловчились, козлы! — сказал Алексеев, не теряя времени на протокольные церемонии. — Машина под окном стоит, эт-та надо же? Мне бабку ехать встречать, главное дело...

И на лице его не было скорби, а только безмерное удивление ловкостью «козлов» да озабоченность: как же бабку встретить без двери?

Мы подошли к его машине — без двери она выглядела как-то ущербно, жалко. Пока Халецкий принялся разбирать свой криминалистический чемоданчик, мы строили версии, что, как известно, предшествует всякому научно обоснованному поиску. Один лишь Юра Одинцов, наш кинолог, «выгуляв» Юнгара, бездумно окунулся в работу: дал что-то ему почитать и тот немедленно взял след. Юра так нам и крикнул: «Взял!» — и бросился за пом, который с визгом промчался метров семь и вдруг встал как вкопанный, описал несколько кругов вокруг себя и, жалостно виляя хвостом, зафыркал громко — след явно и окончательно исчез, будто тот, кто его оставил, взлетел в воздух. Но Юра тут же приземлил мое фантастическое предположение.

— Преступник сел здесь в машину, — сказал он, достал из верхнего кармана частую расчесочку и стал обихаживать густые рыжие усы, которые отпустил сравнительно недавно и, как всякую новую вещь, берег и холил.

— С этой идеей, пожалуй, можно согласиться, — серьезно сказал Халецкий. — Автомобильные двери суть бремена тяжкие и неудобноносимые...

Рита засмеялась, и я с завистью посмотрел на Халецкого. Потому что стоило мне подумать о том, что с Ритой надо вести себя как можно естественнее, и меня сразу застопорило, как и в былые школьные времена, когда я мог выкинуть — ей на погляд — любой фортель, но молвить человеческое слово был не в силах совершенно. Все же я напрягся и сказал рассудительно:

— Пешеходу эта дверь ни к чему. Конечно, ее уезз автомобилист.

Халецкий отошел немного и принялся щелкать своим «Контаксом», снимая место происшествия по правилам судебной фотографии, следовательно, присев на корточки, осматривал стойку двери, а я связался с Григорием Ивановичем. «Не все пока ответили, соберу — я тебя вызову», — пообещал Севергин и отключился, видно, занят был чем-то поважнее. Я подошел к Алексею и спросил его:

— А не мог пошутить кто-нибудь из ваших знакомых?

Алексеев вздернул тоненькие белые брови:

— В смысле?.. Это как то есть?

— Ну, бывает, начудят для смеха. На юморе, так сказать.

— Ничего юмор... — сказал Алексеев и с интересом посмотрел на свой жилистый кулак. — Со мной эти шутки плохи. Не-е, быть не может... — и покачал сурово головой.

И я сразу поверил, что этого не может быть, и версию о шутке снял с повестки дня. Задумался. Рита с сочувствием посмотрела на меня.

— Ты попробуй рассуждать логически, — предложила она.

— Я это и делаю. Значит, первый ход — с машин воруют не то, что дорого, а то, что трудно достать. Как правило, во всяком случае.

— Ну да, — вмешался Алексеев. — Приемник не тронули, запаску оставили — они в пять раз дороже двери!

— То, что двери в дефиците, мы уже установили: ни в магазине, ни на станциях обслуживания их нет. Дальше — варианты: у кого-то старая машина, дверь сгнила, и он решил подновить ее за ваш счет.

— Так, — загнул палец на руке Алексеев.

— Машина попала в аварию, другие детали владелец отыскал, а двери не нашел...

— Или просто одну дверь помял, так часто бывает, — уверенно сообщил Алексеев.

Для Риты наше занятие было чем-то вроде игры, и она охотно в нее включилась:

— По-моему, первый вариант отпадает: если машина состарилась, то не сразу же! Владелец, я знаю, подкупают запчасти исподволь, не так уж оно приекается, чтобы по ночам рвать двери с чужих автомобилей.

— Верно, — одобрил Алексеев. — Скорее всего авария.

— Аварии мы проверяем через ГАИ, — сказал я. — Там регистрируют их все, даже мелкие, потому

что без справки ГАИ ни одна мастерская не станет ремонтировать битую машину.

— Судя по той поворотливости, с которой этот... прикарманил вашу дверь, — засмеялась Рита, — он в услугах мастерских не больно-то нуждается... Насколько я помню по своему «Запорожцу», поставить дверь еще легче, чем снять?

Алексеев почесал в затылке, подумал, потом сказал:

— В общем, чует мое сердце, история эта... с дверью, долгая. Надо, пока суть да дело, новую доставать. Эх! — И он сердито махнул рукой.

— В этом вопросе товарищ... — Рита выразительно посмотрела на меня, — кажется, сможет вам помочь, а, Стас?

— Кажется, сможем, — кивнул я. — Вот вам телефончик, это трест автотехобслуживания. Мне там обещали, в виде исключения.

Алексеев с благодарностью посмотрел на Риту и принялся записывать номер. Из кабины «уазика» высунулся Задирака и замахал мне:

— Севергин на проводе!...

Я побежал к машине, Алексеев крикнул мне вслед:

— Эй, товарищ, а как ваша фамилия?

— Тихонов! — И влез в кабину.

Через динамик в машину вливался беспорядочный шум «малого» эфира: какое-то шипение, возгласы, вопросы и ответы дежурных, заунывно мурлыкала близкая помеха, видимо, технического свойства.

— Слушаю, Григорий Иванович, — сказал я. — Тихонов.

— Значит, так, Стас. Люди проверили — с автостанциями туго: человек обращается, дверей на станции нет — он и уходит, заявку не пишет. Но несколько заявок собрали. Наиболее упорных, так сказать...

— А в ГАИ?

— Тут все на учете. Зарегистрировано за две недели двадцать аварий, в которых участвовали, так сказать, двери. В том числе семь частных, государственных машины я брать не стал.

— Все «двадцать четверки»? — на всякий случай спросил я.

— Само собой. У вас там что-нибудь видно?

— Да ничего особенного, собака не взыла, пальчики Халецкий снял на всякий случай, следовательно дворника спрашивает, не видел ли чего подозрительного ночью.

— И что?

— Похоже, ничего пока. Григорий Иванович, мы, наверное, закружались будем — здесь, на месте, только время теряем. Запроси, пожалуйста, по отделениям, где эти самые частники прописаны, — пусть узнают, кто починил, кто нет...

— Уже запросил. Один из них живет на 2-й Песчаной, дом семь, — это рядом с вами. Запиши номер машины... На остальных ответы еще не дали.

— И то хорошо... Я пока подскокую к этому, а ты дождеешься остальных сообщений. Как его кличут?

— Форманюк Василий Гаврилович.

— Понял. Поехал. Отбой.

Динамик прохрипел что-то маловразумительное и отключился, а я позвал Риту в машину, и мы покатались на 2-ю Песчаную.

Владелец побитой «Волги» мне разыскивать не пришлось — человек в берете и кожаной куртке стоял рядом со своей машиной во дворе дома и сосредоточенно взирал на то, как дюжий мужчина в замасленном комбинезоне, заросший до ушей дикой черной щетиной, правил изуродованное крыло: подсунув железную болванку снизу, он намазал солидолом полированную поверхность крыла и несильно постукивал деревянной киянкой по вмятине. Передняя левая дверь была в устрашающем состоянии — смятая в гармошку, с большой рваной раной в середине.

Мы с Ритой подошли поближе, постояли в позе праздничноатающих, потом я спросил у хозяина:

— А что же вы с дверью-то делать будете? Ишь, как раскурочена!

Хозяин уныло покачал головой:

— Что делать буду? Буду делать... В магазине их три месяца нет. Вон умелец мой. — Он кивнул на жестянщика. — Выправим, говорит, как миленкую, разрыв заварим, напылим, зашпаклюем, загрузим, покрасим — будет как новая... И тяжело, горько вздохнул, глядя, как под руками «умельца» на крыле вместо старой вмятины рядами появляются новые.

Я сочувственно поцокал языком, и мы с Ритой направились на улицу, где оставили «уазик». Задирака сказал:

— Григорий Иванович еще два адреса подбросил. Один на Пироговке, другой неподалеку, на Живописной улице, 14.

Просквозив вдоль берега Москвы-реки и обогнув зеленый еще парк, мы выскочили на Живописную, 14. В квартире двадцать третьей мы узнали у древней бабушки, матери инженера Волченкова,

владельца побитой «Волги», что сразу после аварии ее сынок поставил машину в гараж и убыл в командировку, приедет через две-три недели, тогда и займется ремонтом.

— Что, поедем на Пироговку? — спросил Задирака деловито.

— Да нет, надо вернуться к месту происшествия, забрать группу — они уже наверняка все закончили. А там решим, как быть дальше.

Машина развинулась с Ленинградскому шоссе, и почти одновременно в динамике зазвучал Григорий Иванович:

— Сетунь, Сетунь, Я Байкал... Сетунь!...

— Слушаю, Григорий Иванович, я Сетунь, я Сетунь!...

— Имеем остальные четыре адреса. Согласно проверке, в двух адресах машины стоят без движения, как были, понял?

— Понял, Григорий Иванович, говорите...

— В двух адресах сделали. Первый — Старопетровский проезд, 18, Лузгин Василий Васильевич. Второй — Куйбышевский район, Бойцовая улица, 23, Хапчевский Ефим Маркович. Записал?

— Записал. Мы сейчас за ребятами вернемся, а оттуда, если ничего у вас не случится, на Старопетровский проскочим. Во-первых, ближе отсюда, во-вторых, я думаю, больше вероятности — вряд ли они на другой конец города за дверью ездили.

— Резонно, — сказал Григорий Иванович. — Действуй.

Минут через десять, уже с опергруппой в кабине, мы остановились около нового лагутиновского пятиэтажного строения в Старопетровском переулке. Пенсионер Лузгин был, к счастью, дома.

— Василий Васильевич, вы, говорят, в аварии побывали?

— Было дело, да обошлось, — бодро сказал Лузгин. — Главное дело, выехал я за линию «стоп» еще на зеленый, а впереди самосвал замешкал. Желтый дают, потом красный. Я, конечно, не слишком тут проворно действовал, но...

— Нам обстоятельства известны, — покривил я душой, понимая, что иначе последует автолюбительский рассказ минут на двести. — Что с машиной вашей, починили?

— А как же! — гордо воскликнул Василий Васильевич. — У меня тут по соседству в гараже такой профессор работает! За два дня все сделал, как не было...

— Посмотреть можно?

— С удовольствием! — Лузгин набросил на плечи плащ, с готовностью повел нас к гаражу. — Конечно, ремонт дорожке обошелся, чем страховку получу, но уж зато, как говорится, дорого, да мило...

Он отомкнул ворота старенького железного гаража — внутри стояла синяя «Волга», левая передняя дверь ее была загрунтована, подготовлена к окраске.

— Дверь в магазине брали? — спросил я.

— Как же, приготовили вам в магазине! — отозвался Лузгин. — Петя и притащил...

— И давно?

— Сегодня утром! У них в гараже машину списали, аварийную. Ну, чем добру в металлолом идти, лучше в дело, так — нет? Он и отгрунтовал ее и поставил быстренько — все путем.

Откуда-то у меня из-за плеча вынырнул Халецкий, колупнул ногтем грунтовку двери и спросил озабоченно:

— А старая краска поверх новой не вылезет? Это ведь дело серьезное: покрасишь красной по старой зеленой, а через неделю пошли разводы!...

— Не должна... — задумался Лузгин. — Старая серая была, такая серо-стальная, знаете?

— Ах, серо-стальная! — успокоился Халецкий и подмигнул мне. — Тогда другое дело...

Машина Алексеева была выкрашена серо-стальной краской, и нам теперь только оставалось попросить Василия Васильевича проводить нас к своему «профессору». Остальное было делом техники, и мы могли с чистой совестью удалиться — местные сыщики закончат расследование уже в деталях, а нас ждут бесчисленные дела огромного города, в которых мы, если повезет, еще сождемся.

... — Милиция слушает. Помдежурного Микитю...

— Товарищ Микито, дорогой! Выручайте, пропадают! Я цирковой артист оригинального жанра. То есть иллюзионист. У меня вчера пропал чемодан с реквизитом. Моя фамилия Сидорини...

— То есть как пропал? При каких обстоятельствах пропал чемодан?

— Не знаю. Возвращался из гостей — и пропал. Пришел в гости — был чемодан, и ушел — вроде бы был. А сегодня нет. А там мой специальный реквизит, мне без него зарез! Месяц будут новый делать! Помогите!

— Соединяю вас со столом находок. Отбой!...

Продолжение следует.



Рисунок Михаила САЛИНА



Рисунок Нагима НУРМУХАНБЕТОВА



Рисунок Леонида ТИШКОВА

Рисунок Владимира ХОЗИНА

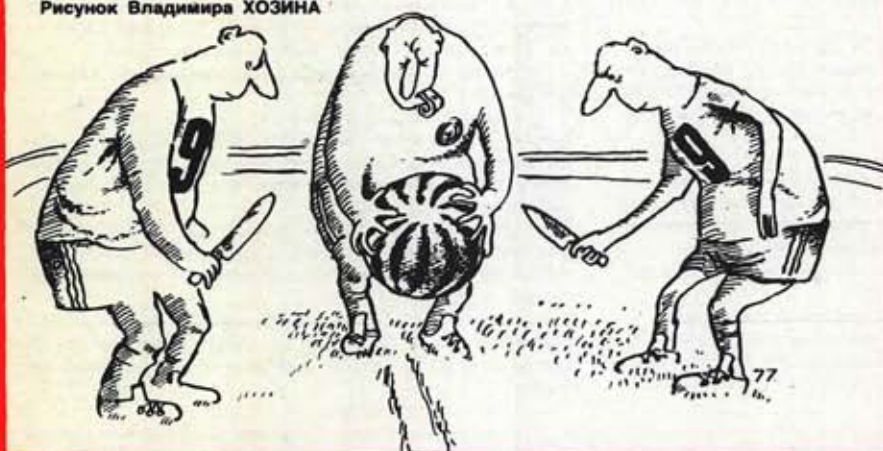


Рисунок Владимира ИВАНОВА



ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ

Под редакцией
заслуженного
тренера РСФСР
Виктора ЛЮБЛИНСКОГО

ЮБИЛЕЙНАЯ 20 ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Предлагаем нашим читателям очередные задания олимпиады. Жюри настоятельно просит посылать ответы на почтовых карточках (без конвертов), в решениях пользоваться только сокращенной шахматной нотацией, разборчиво указывать адрес редакции «Смены» и свой обратный, фамилию и инициалы, а также ставить пометку «20-я шахматная олимпиада» на лицевой стороне открытки, а на другой ее стороне справа сверху — олимпиадный регистрационный номер участника.

ТРЕТИЙ ТУР



Белые начинают и дают мат в три хода (4 балла).



Как должна закончиться борьба при лучших действиях сторон после хода черных 1. ...Cd6? (4 балла).

III

С каким счетом закончился и когда состоялся шахматный радиоматч СССР—США? (1 балл).

IV

Кто из советских шахматистов и в каком соревновании стал первым чемпионом мира? (1 балл).

* * *

Не забудьте обязательные сроки отправления ответов на третий тур — с 11 по 20 марта 1978 года.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ТУРНИР?

Одним из заданий девятого, предпоследнего тура этой олимпиады будет проведение классификационного турнира новичков, которые не имеют пока никакого разряда по шахматам. Выполнение этого задания разрешается начать непосредственно сейчас, в январе, или несколько позднее.

Турнир по программе нашей олимпиады можно провести как в том коллективе, где вы работаете или учитесь, так и в любом другом. Минимальное количество играющих — шесть человек. При 6—10 участниках они встречаются друг с другом по два раза. Одиннадцать и более шахматистов играют между собой по одной партии. Максимальное число участников — две группы по 20 человек. Организатор мероприятия, если у него самого нет классификационного билета, тоже вправе играть в турнире.

Когда все партии будут завершены, на обычном по размеру листе бумаги вычерчивается итоговая турнирная таблица, в которой участники (по фамилии с инициалами) размещаются в порядке занятых ими мест (при одинаковом результате — по алфавиту). Эта таблица завершается печатью и подписями руководителя коллектива, где был проведен турнир, и

организатора. Если кто-либо из набравших 60 процентов и более возможных очков претендует на получение не первичного, четвертого, а более высокого (третьего или второго) разряда, к таблице следует приложить запись всех его партий, сыгранных в этом соревновании, для того, чтобы жюри смогло их проанализировать.

Материалы по итогам турнира посылаются в редакцию только в письме на девятый тур олимпиады, никак не ранее. Всем товарищам, выполнившим классификационный норматив, будут высланы справки о присуждении шахматного разряда.

Как было обусловлено при открытии олимпиады, тем ее участникам, которые не смогут выступить в роли популяризаторов шахмат, вместо организации турнира в девятом разделе будет предложено другое, компенсирующее задание.

ПОЛКУ ГРОССМЕЙСТЕРОВ ПРИБЫЛО

На последнем конгрессе ФИДЕ (международной шахматной федерации) четырем советским мастерам присвоены гроссмейстерские звания. Это Евгений Свешников (Челябинск), Тамаз Георгадзе (Тбилиси), Лев Альбурт (Одесса) и Александр Кочиев (Ленинград). Предлагаем вниманию читателей «Смены» характерный пример творчества молодого челябинца Е. Свешникова.

Перед вами позиция, возникшая после 15-го хода белых в его партии с кубинским мастером Д. Диазом на международном турнире 1976 года в Бухаресте. Е. Свешников, игравший черными,

искусными тактическими ударами овладел инициативой и энергично развил ее.



15. ...b5—b4! 16. c3:b4. В пользу черных выглядит и вариант 16. Kc4 bc 17. bc Kc7 18. Kce3 C:d5!

16. ...Kc6:b4! 17. Kd5:b4 Фd8—a5 18. Ka3—c2 Лc8:c2 19. 0—0 Лc2:b2! 20. a2—a3.

Трудность положения белых подчеркивает вроде бы заманчивое для них продолжение 20. Kd5 Фd2 21. Kc7+ Kpd7 22. Л:f7+С:f7 23. Ф:f7+ Kpc6! 24. Ф:g7—Fe3+! 25. Kph1 Фd3 26. h3 Лb1+ 27. Л:b1 Ф:b1+ 28. Kph2 Ф:e4 и т. д.

20. ...0—0 21. Kpg1—h1 Лb2—b3 22. Cd3—e2 Лb3:a3! Черные проявляют бдительность, умело обходя пикантную ловушку — в случае 22. ...Ле3? 23. Лf3! Л:e2 24. Лg3 Л:e4 25. Л:g7+! Кр:g7 26. Фg5+ противник спасался «вечным шахом».

23. Kb4—c6 Фа5—a4 24. Kc6—e7+ Kpg8—h8 25. Ла1:a3 Фа4:a3 26. Фh5—h4 Фа3—a2 27. Лf1—f2 a6—a5 28. Се2—f1 Фа2—b1 29. h2—h3 Фb1—c1 30. Kpg1—h2 Фc1—h6 31. Фh4—g3 Сg7—f6 32. Кe7—f5 Фh6—g6! и черные легко реализовали свое преимущество.

С ОТКРОВЕНИЕМ. В УМЕРЕННОМ ДВИЖЕНИИ.

ПУСКАЙ СЛОЖИЛОСЬ ВСЕ ИНАЧЕ

Слова
Дмитрия
СМИРНОВА.
Музыка
Серафима
ТУЛИКОВА.

На старых письмах стерлись даты,
Как дым, растаяли вдали.
Мы, видно, сами виноваты
В том, что любовь не сберегли.

Припев:
Пусть сложилось все иначе —
Я счастье встретила с другим,
Но пожелать хочу удачи
Тому, кто был мне дорогим.

Кружились листья над садами,
Дымилась белая снега...
Что ж, все меняется с годами,
А эта память дорога.

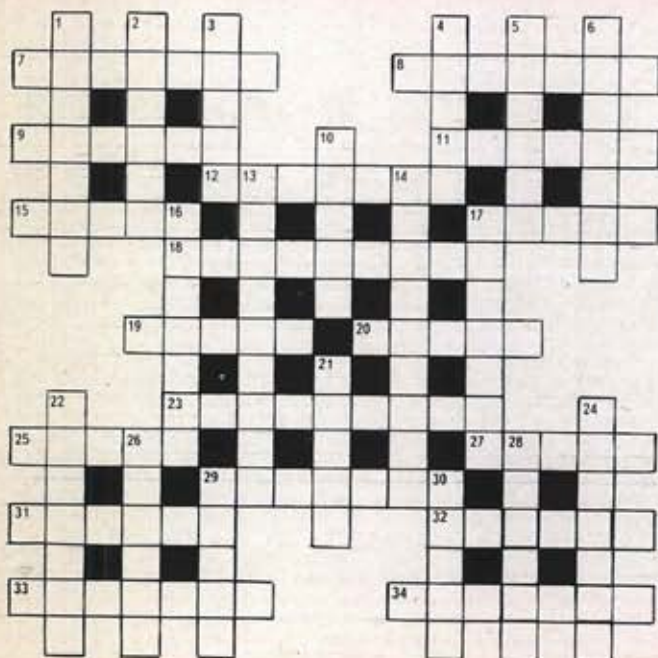
Припев.

Не вышло то, о чем мечталось,
Забуты встречи и слова...
Все это в юности осталось,
А юность в памяти жива.

Припев:
Пусть сложилось все иначе —
Я счастье встретила с другим,
Но пожелать хочу удачи
Тому, кто был мне дорогим.

К Р О С С В О Р Д

Составил Ш. САФИН,
г. Искитим



По горизонтали:

7. Временное прекращение работы для отдыха. 8. Русский архитектор XVIII века. 9. Рассказ А. П. Чехова. 11. Советский исследователь Центральной Азии. 12. Вид графики. 15. Нидерландский композитор эпохи Возрождения. 17. Денежная единица некоторых европейских государств. 18. Академик, математик, лауреат Ленинской премии. 19. Специальный канал в ракетных и реактивных двигателях. 20. Гурт скота, отара. 23. Впадина на земной поверхности. 25. Ластоногое животное. 27. Герой повести А. Гайдара. 29. Картина художника-передвижника Н. А. Ярошенко. 31. Мексиканский живописец и общественный деятель. 32. Коренное население союзной советской республики. 33. Математический знак. 34. Советский физик, академик.

По вертикали:

1. Русский художник-пейзажист. 2. Немецкая писательница, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 3. Стержень с рукояткой для управления и регулирования скорости машины. 4. Озеро в Приморском крае. 5. Источник, выбрасывающий фонтаны горячей воды. 6. Старинный город в Московской области. 10. Прославление, одобрение. 13. Опера Д. Верди. 14. Советский журнал. 16. Переплет, крышка книги, тетради. 17. Прямоугольник. 21. Стихотворная форма. 22. Водоплавающая птица, обитающая на южных побережьях. 24. Деталь штампов для обработки металлов. 26. Советский художественный фильм, отмеченный Государственной премией. 28. Порт на Украине. 29. Искусственное русло для водного потока. 30. Устройство для обнаружения наблюдаемого объекта.

**ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 1**
По горизонтали:

4. Делегат. 7. «Соперники». 12. Бубен. 13. Отсек. 16. Орша. 17. Андромеда. 18. Клен. 19. Километр. 20. Антилопа. 21. Ваганова. 22. Ацетилен. 25. Мана. 26. Степанова. 27. «Соть». 28. Рошин. 29. Финик. 30. Змееголов. 33. Ромашка.

По вертикали:

1. Ядро. 2. Метроном. 3. Уток. 5. Кубрик. 6. Металлография. 8. Представление. 9. «Интернационал». 10. Стеклопластик. 11. «Берега». 14. Гармонист. 15. «Калистрат». 21. Власов. 23. Нутрия. 24. Барограф. 31. «Море». 32. Омар.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ



ОТДЫХ РЕМОУТНИКОВ.



ПЛОДОРОДИЕ.

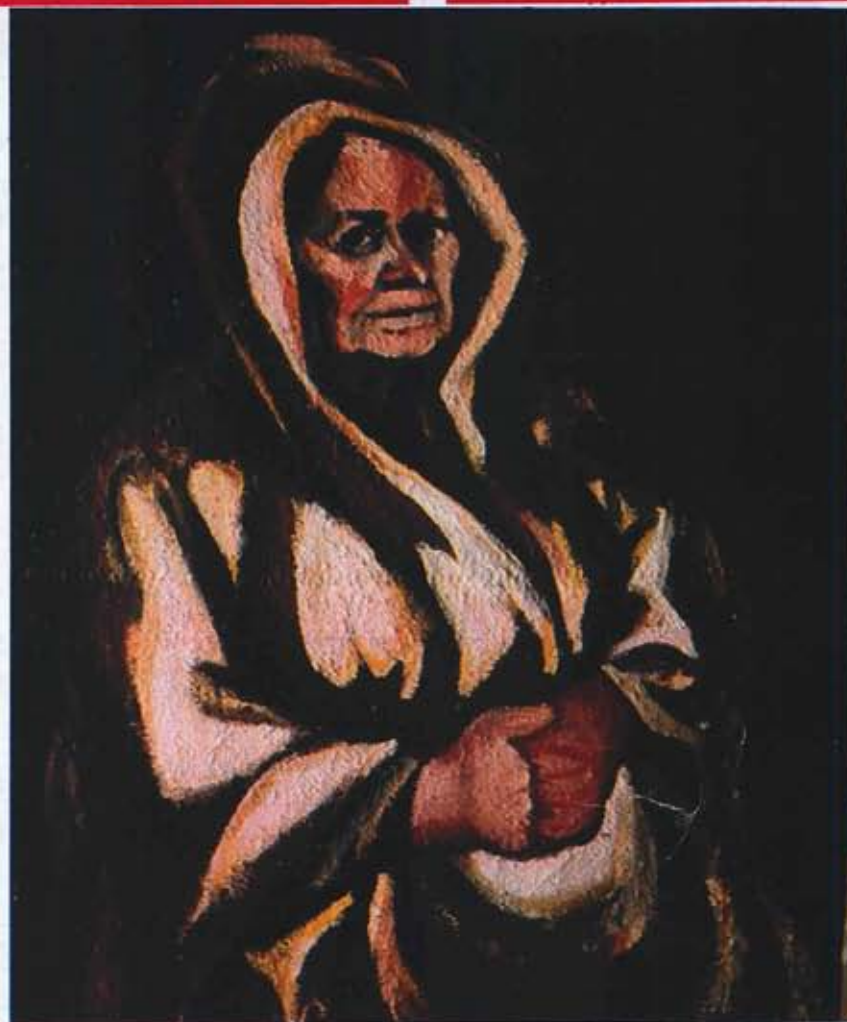
Живопись молодого азербайджанского художника Мир Надира Зейналова ярка, красочна и эмоционально насыщена. Но он не принадлежит к числу живописцев, работы которых призваны лишь ласкать или радовать глаз зрителя. У него более глубокие задачи, и заявил он об этом первой же появившейся на выставке картиной «Бахча».

Этот пейзаж не вызывает у зрителя чувства умиления или восторга, он заставляет задуматься о жизни земли, природы, призванной не только украшать наше существование, но и служить человеку. Подчеркнуто лаконичная композиция с высокой линией горизонта, строгие, лапидарные ритмы барханов, охристо-серый, как бы выжженный солнцем колорит — все это создает особую весомую тональность, требуя от зрителя серьезного и углубленного отношения к мысли художника: плодородие земли — это не данная свыше благодать, в нем труд и пот человека.

Художник продолжает тему плодородия, придавая ей в последующих работах черты символического обобщения. Он более крепкими узлами связывает человека с землей, подчеркивая неразрывность этой связи. Другая картина Зейналова, так и названная — «Плодородие», развивает тему, придает ей более сильную эмоциональную окраску. Цвет говорит здесь в полный голос. Женская фигура, естественно и подчеркнуто неразрывно связанная с формами и ритмами дерева, как бы насыщена отблеском жгучего геокчайского граната. Глубокий ультрамариновый фон усиливает торжественно строгую звучность красок.

Проявившаяся в первых же картинах глубокая связь творчества художника с землей отнюдь не случайна: он живет и работает в селении Бузовны на берегу Каспия. Ему с детства знакома тяжесть и радость сельского труда, потому он далек от идеализации крестьянской работы и потому так полнозвучно и убедительно умеет выразить чувство радости от нее.

С особенной силой этот эмоциональный настрой проявляется в портретах. Художник любит писать юность в сильных насыщенных тонах, с преобладанием звонкой киноаои. Но, несмотря на яркость и раскованность письма, его портретам свойственна та же углубленность и строгая вдумчивость. Трепет юности, свежесть чувства в «Портрете Илаш-



ПОРТРЕТ БАБУШКИ.



НАТЮРМОРТ С КИРКОЙ.

ки» не заслоняют, а как бы подчеркивают внутреннюю наполненность и поэтичность образа.

Редкий азербайджанский художник не отдавал дань одной из генеральных тем национального искусства — теме нефтяников. Зейналов не представляет исключения, он предан этой теме глубоко и серьезно. В большой композиции «Отдых ремонтников» художника привлекает образ человека труда, его внутреннего духовная жизнь. Вглядитесь: лица группового портрета далеки от канонов классической красоты, но высокая одухотворенность, которую сумел почувствовать и передать художник, сообщает им особую жизненную красоту и привлекательность.

В первых же работах Зейналова ярко проявилась одна из главных особенностей современной азербайджанской живописи — сочетание реалистического рисунка с необычным, резко усиленным цветом. Такая верность национальной традиции говорит в пользу молодого художника. И хотя трудно гадать сейчас, как сложится дальнейший путь Мир Надира Зейналова, но с уверенностью можно сказать, что серьезность в выборе темы и вдумчивое отношение к человеку труда уже дали направление его творчеству.

Алексей АЛЕКСЕЕВ